



Смирнов Николай Васильевич родился в 1950 г. в деревне Коровино Мышкинского района Ярославской области. Окончил Литературный институт им. А. М. Горького. Публиковался в областной периодике, в журналах «Юность», «Волга», «День и Ночь», в альманахе «Поэзия», в антологии «Лёд и пламень» и др. Автор нескольких книг стихов и прозы. Лауреат трёх литературных премий. Член СРП с 1993 г., живёт в Мышкине.

## **Николай Смирнов**

### **Красная чаша**

*Кто знает, далеко ли от каждого из нас подобный случай. Между тем и общее время всё хмурит брови, кажется, слышится: "горе живущим на земли"...*

Из письма Филарета, митрополита Московского  
6 марта 1824 года

#### I

Доброшка любила воду и камни. Она шла искупаться в последний раз по песчаной, седой, нагретой солнцем тропке и заволновалась, увидев реку, на которой она выросла и которую первый раз увидела, когда мать поднесла её к Синему камню, помолилась ему, и тогда глаза восьмимесячной девочки тронуло блеском и светом воды, и в глубине замерцали, будто зазеленели они солнечной осок, тихо, призрачно гнущейся, как во сне, в мелких струйках.

Нынешнее лето было засушливое, река сильно обмелела. Свежие пни стояли у выбитой тропки, и убого гляделись избушки, наполовину врытые в землю, торчали в небо приставленные к ним жерди, аккуратно краснели лишь заготовленные и уже постаревшие брёвна, на которых совсем недавно муж её сидел и, перекусывая нити зубами, чинил невод. Но от этого ещё загадочнее казалась река и величественнее её солнечная, живая красота. Доброшка знала, что все люди её племени вышли из этой реки, там, в глубине, есть такие большие избы, там же поля и леса, только окружены они прозрачными стенами. И осторожно надо там ходить, чтобы не задеть этой стены с гуляющими в ней рыбками. Пусть даже и сом подплывёт — надо не трогать пальцем его усов — так учила мать, и тогда ты выйдешь на небесную дорогу. Но лучше, если ты вскочишь на рыжего,

на золотого конька, которым оборачивается царь-огонь. И теперь Доброшка горько радовалась, что никто не собьёт её с небесного пути, радость размывала всю её прошлую, тяжёлую жизнь в бревенчатом гнезде, дымном, смрадном, втекала в сердце, будто из самой реки; конёк огненный был уже близко, ржал и звал к преображению. И муж, умерший, но преображённый уже в её мыслях, звал её, чтобы она его проводила, он обещал вознаградить её там. Когда они там встретятся, её золотой буйный конёк положит голову его могучему коню на шею, и они не закричат, не обнимутся, а просто помолчат, входя, вращая живым, вечным огнём навсегда друг в друга.

Прошлым летом срубили новую деревню, два гнезда её избушек светлели на травянистом берегу. Дальше на сырых местах, весной заливаемых водой, стояли старые ивы, распавшиеся причудливыми рогатками, изогнувшийся удавом ствол одной сгибался, касаясь травы, и снова выворачивал свою серебристо-серую листву к небу. У старой навозной кучи высилась стая перунова цвета — чертополоха. Короткое детство Доброшки с играми полуголых, одетых в одни короткие рубашонки ребятишек прошло под такими дивными, раскидистыми растениями. В деревне их называли дедушками. Но Доброшка не успела подумать об этом, знакомая боль, тянущая сильно, схватила внизу живота, колени дрогнули, она, пройдя ещё с десяток шагов, присела прямо на траву, замерла, впитывая низом зелёную, лечащую прохладу, как раз на перекрёстке тропок: куст чертополоха здесь был похож на дракона, о котором рассказывал её муж в первые годы их жизни. Зубчатые листья растопырены, как перепончатые крылья — головы с огненными языками. Многоголовый, многокрылый летучий змей... Доброшка любила глядеть на цветущие травы — душа оживает, и открывается ей какая-то новая жизнь. И поэтому она встала — река уже сверкала рядом, — дошла, сняла со спины пестерь, берестяную суму, не стыдясь, как делали все женщины их деревни, сбросила с себя рубаху с юбкой и, войдя в нежно, властно обнимавшую её воду, вдруг заплакала громко, так, что плач этот был слышен и на том берегу.

Здесь же, у этих камней, двадцать лет назад, в самый жаркий, душный месяц лета, ночью, в рачий праздник, уйдя с давно заприметившим её Вулафом в травы, она была грубо придавлена к земле и познала мужа. Придя в себя, она вырвалась и долго бегала, как козочка, у воды, словно прося у неё защиты, так что Вулаф испугался, что она уйдёт к русалкам, и побежал за ней, но она спряталась от него в сырых кустах. Тёплый туман, уже обещающий утро, поднимался с реки. Вулаф был сыном поселившегося здесь, спустившегося на большой лодке с верховий из деревянного городка, вара-

га. В этой деревне, теперь сокрывшейся давно, как в воду, в прозрачный поток времени, занимались семьи их хлебопашеством. Срубили длинный с пристройками дом, глядевшийся замком среди мерянских избушек-землянок. В него через две недели после игрищ рачьей, водяной ночи Доброшка перешла жить к Вулафу. И в том же году, ей было четырнадцать лет, родила первенца, а на другой год — девочку, похожую на себя, с зелёными глазами. Девочка умерла, отправилась в небесное царство. И так она родила девятерых детей, из которых уцелели только три сына и одна дочка. Она вялила рыбу и мясо, жала, пряла, ткала, ходила босиком по снегу, заговаривала змеиные укусы на синие цветы. Вулаф года не дожил до сорока лет, когда начал внезапно чахнуть, на боку у него появилась дырочка, «жерло», как они её называли, откуда не преставая тёк гной, и он слёг и уже не вставал. Не помогли снадобья коренщицы, вещей старухи. Он умер, и его положили в ту большую лодку, на которой приплыл его отец с верховий. Лодку украсили цветами, лентами и ветками берёзы, нарядили Вулафа в лучшую суконную одежду, нацепили на него бесцельно пролежавшее боевое железо, узкий длинный кинжал и приготовили немало разной снеди в горшках. Ещё в молодости, у воды во время своей свадьбы, а потом в бане, когда Вулаф, посверкивая хранившими северный, жестковатый туск глазами, спросил её: «Если я умру первым, ты пойдёшь со мной в небесное царство?» Доброшка согласилась, не раздумывая. А как бы она могла не согласиться? Что скажет родня? И жёны братьев Вулафа, деверя с золовками? Так поступали почти все женщины из здешних деревень, если муж-варяг просил проводить его. Уходили вместе с дымом костра на невидимых золотых коньках в небесный мир. И сейчас она вспоминала, каким в последние дни печальным стал северный, как изморозь, свет в его потерявших силу глазах, как он смигнул жалостливо на одре. И он бы простил её, если бы она испугалась, отказалась теперь пойти за ним. Вспоминая его взгляд, она и не смогла теперь нарушить клятву, жалела его, как он там будет один, в небесном царстве? А в земном — будут насмехаться над детьми его жены, а теперь все трое сыновей будут величать её, не побоявшуюся оседлать золотого, небесного конька: *«Уж где же ваша матушка? Уж как нашу матушку боги взяли с боженятами!»* И к той же вещи старухе, у которой весной она брала мази и пахучие лепёшки для больного мужа, она теперь шла за *кореньем, зельем лютым*. Уже была вырезана похоронная чаша из красной олхи для этого, погружающего в смертный сон напитка.

Боль в животе после молитвы у камня и купания отпустила, и Доброшка заторопилась, чтобы успеть. Много у неё забот похорон-

ных. Вещая старуха жила за сосновым леском, на дору. Пошла по привычке мимо поля после ячменя, житища, которое пахал её муж с сыновьями. Но не остановилась тут, а наоборот, пошла быстрее, привычная жизнь вокруг в эти дни размылась, как во сне, и уже не так болезненно, не так горюче обтекала её. Мысли её были просты и вроде бы бессвязны, лежали — каждая отдельно в душе, как зёрна, которые она кидала в это поле. Перевести их на современный лад с точностью нельзя. Хотя в корнях своих они мало отличаются от наших. Отдельно от окружавшего мира и мыслей она чувствовала и погружалась в это чувство всё глубже, что в этой жизни надо уметь забывать себя, отходить к тому, что будет вместо теперешней тебя, чувствовать свою ничтожность, персть, чтобы стать больше себя...

Доброшка вышла из перелеска в небольшой разогретый лужок, посредине белый от звездчатки, вокруг над вершинами берёз и осин — тёплые облака на радостном небе. В этой солнечной радости и есть что-то необычное, — вчуялась, дрогнув, она: и всю саму её — точно смыло волной опять накативших слёз, как смывают пыльное пятно с оконного стекла, — сделало прозрачной. Как об этом необычном рассказать, о тёплом Божьем присмотре? Только сказкой и будущей русской иконописью. Белые порыжевшие травы, июньские цветы и первые тёплые облака, и человек, в сотый раз увидевший это, но так до конца, и в наши дни, не сумевший сам за свою жизнь понять и отгадать: за что, на что ему даны такие дары?

Доброшка сильно похудела, выглядела намного старше своих лет, на самом деле ей было тридцать четыре года, и в лучшие минуты прояснялось лицо её, как солнечное, песчаное дно, будто вся она состояла из света и воды — и будто весь мёд телесный, его сладость, выпитая жизнью, — теперь бесплотно, призрачно вспыхивала в сосуде её тела. Холщовое покрывало, прижатое к русым волосам медным обручем, было низко спущено, голос тонкий почти не отставал от уст, переходя в шёпот. А старуха вещая, вышедшая навстречу ей к частоколу из кривых сучьев, была её старше, но казалась моложе: высокая, дородная, в красной юбке и таком же, в пятнах от снадобий, захватанном сажеей переднике. Толстые губы её жадно блестели, точно намазанные жиром, глаза неяркие, голубоватые смотрели с удивительно молодой силой. Своим притворным весельем коренница смутила Доброшку, думавшую о болезни мужа, о том, как он мучился последнюю неделю и кричал, *как бык* — так говорили о нём племянники. И уйдя в ненастье этих переживаний, Доброшка, слушая старуху, только кивала, опуская взгляд. Вынула из берестяного пестера меха.

Вещая старуха, взяв плату, велела подождать и ушла в свою землянку, у которой была наткнута на кол старая медвежья голова. Доброшка, словно не поддаваясь потоку тайной, бессловесной муки, стараясь вышагнуть из него, как из тени, отошла от частокола к заросшему осокой пруду и села под низко повисшей берёзовой веткой на колоду. Дальше в березняке и осиннике начиналось большое болото, заросшее ольховыми кустами.

Из осоки на яркую зелёную ряску выползли три такого же цвета небольших лягушки. Одна — поодаль, а другая деликатными рывочками подплыла и положила голову на шею своей подружке, как это делают лошади, и замерла. Доброшка умилилась, привстала с колоды, но лягушки не испугались, и она рассмотрела, как под мостками выплыли две рыбки, тоже тесно бок о бок. Один карасик почти с ладонь, другой — в два раза меньше. Она заглянула в это коричневатое окно в зелёной ряске, точно отзывавшейся её зелёным, замерцавшим теплотой слёз, глазам. Пруд заколыхался, ей представлялось небесное поле, и не две лягушки, а два золотых конька задрожали в слезах на этом голубом поле. Она и Вулаф. И тут же со слезами выплыло и охватило чувство, что она не понимает, зачем ей нужно завтра умереть, зачем лежать в большой лодке рядом с холодным, каменным мужем... Но размягчённая душа её уже не могла отступить. Особенно ради детей она выпьет яд, чтобы её родня, северные люди, не смеялись над её детьми и хранили её память. А потом они с мужем и детей встретят там, где живут боги с боженятами. Да и лодка уже снаряжена и приготовлено всё смертное...

Стояла, глядела в это коричневое окно в ряске и не услышала, как подошла вещая старуха. Рыбки вздрогнули и, ещё теснее прижавшись друг к другу, исчезли в придонной тьме. Коренщица, длинно, оценивающе глянув на Доброшку со спины, окликнула, подала небольшой берёзовый туесок с плотно насаженной крышкой. Доброшка, не досмотрев на лягушек, взяла его, а старуха, вдруг поправив ей головное покрывало, начала быстро, подражая мужскому голосу, говорить бесстыдные слова про чёрное и белое, женское и мужское, про женскую ненасытную силу, про болото, к которому стоит она передом, и про таинственного белого коня, живущего в глубинах этого болота... Кто его вышивает, это коренье, зелье лютое, тот просветится до каждой жилки, до каждого состава и подсоставка. В этом зелье такая сила, что если выплеснуть этот туесок в болото — болото тоже просветится до глубин, и оттуда выскочит белый конь... И сколь крепок и жёсток Синий камень, не крошится, не колетса и не катится, пусть столь крепок и жёсток мой будет заговор... — Всё непонятнее, быстрее твердила она так, что у Доброшки замутилась голова и заломило сердце, и опять знакомой болью потянуло низ

живота. Она опустилась на колоду, прижимая туесок к груди...

— Первый глоток только, милая, сделай, а потом уже будет не оторваться... Красная-то чаша готова? — спросила вдруг, участливо наклоняясь и лоя взгляд Доброшки, коренщица.

— Готова, — точно отталкивая от себя какую-то нависшую тень, встала, очнувшись, с колоды Доброшка.

— Выльешь в красную чашу... Это бересто тоже вместе с ней, смотрите, пусть в огонь положат... А то ведь есть и такие, что встают из огня, идут чашу искать, бересто вылизывать... Первый глоток только сделать, а потом будет не оторваться, — повторяла спокойно вещая старуха, забывчиво перебирая какие-то корешки в большом кармане передника.

Красная вырезанная из ольхи чаша, из которой Доброшка выпила яд, стояла у её плеча, в лодке. Она лежала рядом с мужем в свадебном наряде, в высоком «ведёрке» из бересты, обтянутом яркой тканью, с цепочками, серебряными дирхемами и привесками с золотыми коньками, которые уже нетерпеливо ржали и били копытцами, собираясь унести их души с дымом костра в небесное царство. Доброшка его хорошо представляла: как подводная глубина — только вода небесная, лёгкая, как радость, и прозрачная, до самых звёзд. Она ещё в доме выпила чашу, потеряла движение, хотела закричать, но голос из груди не пробивался. А потом вдруг появился перед ней давно умерший отец, утешал, шутил, погладил, как маленькую, и от его руки тяжесть навалилась на всё тело, и она никак не могла схватиться за гриву золотую. А когда очнулась, то сидела уже впереди мужа, ставшего легким, плавным, как птица, в тёплых, жемчужно-серых облаках, где летели они в небесной пустыне на золотом коньке. А Доброшкин маленький конёк скакал за ними следом, как жеребёнок.

Лодка с двумя покойниками уже обуглилась и распалась. Костёр, истощив свою силу, точно упал и расстился теперь по земле. На высоком месте он был далеко виден. Впереди сосны, рядом, за спиной, небольшое сжатое уже ячменное поле и врытые в землю избышки, слева — щёки обрывистого, красной глины, берега с сосновой стеной и ручей, впадающий в реку, переливающийся между толстолобых, задумчивых валунов, и нежная травка на сыром с железистыми ключами песке. Вода, уже посветлевшая и стоявшая тихо в заливе против устья ручья, была тоже задумчива, как и валуны, и отвечавшие их молчанию древесным покоем сосны над красным откосом. Всё здесь было вроде и не то, и одновременно то же самое, что жило в мыслях Доброшки и её мужа... Такое царство небесное и

есть, точно говорили тяжёлыми, каменными словами валуны и глина, сосны, и в такое царство сейчас скачут души Доброшки и Вулафа... Но напрасно родня пела величание: *уж как нашего батюшку, уж как нашу матушку боги взяли с боженятами*. И напрасно младшая дочка: вся в мать — с такими же влажными, солнечными глазами — положила в могилу, к обгоревшим костям, бронзовую, из греческой земли пряжку, которую так хотелось получить ей в приданое. Всё это скоро забылось. Слова воды, глины и камня были медленны и от этого стали казаться тишиной... Но прошли века, и они завершились, сложились в одно, и выпало, как вымытый цветной камушек из глинистого откоса — слово Крутлицы. Это маленькие курганы, в одном из таких были зарыты и Вулаф с Доброшкой. Она лежала рядом с ним — маленькая, с широкими тазовыми костями, по грудь ему был её костяк. Красная чаша ольховая тоже давно забылась, остатки ржавой коросты и штырь кинжала лишь напоминали о вооружении варяга-землепашца. И неподалёку так же взрыхлённо дышало поле, и стояли сосны, хотя и сильно поредевшие, а на холме, где чернели когда-то врытые в землю избушки, белела, прямо уходя к облакам, в небесное царство, колокольня, и село теперь называлось по-другому. Прежнего его названия давно не помнили даже столетние старики и старухи.

## II

В пятницу собрались в отделанном заново зале администрации города чиновники из соседних областей. Первой в вестибюль вошла парочка. Он — длинный, как манекен с витрины, будто с нарисованным пробором, одет с модным шиком, но всё на нём помято. В том, как он извихнулся, помогая снять пальто своей спутнице, проскользнуло для Николая Николаевича, не привыкшего к галантерейным тонкостям, что-то неприятное. Он не сразу догадался, что это — всего лишь актёры, обслуга для ведения застолья. *«Кадровый резерв профессиональная команда страны»* — так, без запятой, назвал всё это сборище один резервист из президиума с колючими, жуликоватыми глазами и бородкой, похожей на детский совочек. Из-за того же стола влипали в зал вызывающим взглядом, будто подведённые, мужские влажно-яркие глаза с каким-то женским, и от этого особенно противным, выражением. Николай Николаевич нарочно зацепился за них и смотрел, пока они по-женски же не опустили ресницы. Никогда он не видел столько молодёжи с уже нечеловеческими лицами: сплошное лицевое мясо, приправленное предвкушением даровой выпивки и закуски. В каждом мужском лице и развороте пиджака, в каждой являющей себя женской фигуре

сквозило что-то прикрыто порочное или явно развязное. А на печатных листках чернели ещё неслыханные для него потешные слова. *Приём у мэра городского поселения: «Голубой огонёк “Талантливый резервист”».* Место проведения «Ресторан гостиничного комплекса “Форсайт-хаус”». Программа «Сказки кадрового резерва». Там же и семинар глумливый «Заговорит ли народ?». «Сколько в этом хамства и свиной сытости! — едко удивлялся Николай Николаевич. — Все обречены: если уж не под нож, то на глупое, пустое и ненужное дело...» «Вы находитесь на земле, где ходил наш президент!» — провозгласил с трибуны розовый, уже подвыпивший мэр. Потом они бродили по залу, игриво приглядываясь друг к другу, без стеснения разбиваясь на парочки.

А на другой день с утра поднимали на звонницу собора новые колокола. И было не протолкнуться там, где курил Николай Николаевич когда-то, много лет назад, в притворе у мраморного подоконника, в переделанном на Дом культуры соборе, у будки, где тогда продавали билеты в кино, и кто-то маленький, кривоногий, выпускающая дым, многозначительно ухмылялся: «Один французский писатель написал, что он за пять минут оргазма отдал бы всю жизнь!» Николай Николаевич, тогда ещё старшекласник, косился завистливо — ему уже девятнадцать, знает и оргазм, и французов. Он отбивал у Николая Николаевича шестнадцатилетнюю Марину. Подсел к ней в темноте сеанса, а понравился он ей за то, что умел играть на трубе...

После молебна на площади появился губернатор из бывших комсомольских секретарей: сплошной ёжик с человеческими глазами. Ему — право ударить первый раз в большой колокол. Дальше для почётных гостей — отдельная программа. Губернатор и его толстый, как белый мешок, заместитель, недавний газодобытчик, входят в бывшую усадьбу предводителя дворянства. Там, за часовней, бывшим моргом, — декоративная деревня, работники культуры, наряженные простолоудинами и крепостными девушками. Они гуляют вокруг стола с напитками и громко спорят, поглядывая на губернатора и мэра: «Нет, наш-то барин лучше, с усами!» Появляется в картузе и в чуйке кабатчик. Губернатору подносят чашу с красным вином. Вокруг рукоплещут: новый прокурор — длиннолицая дама с хорошей фигурой; общественник с лицом, как бадьба, ясный извне и озлобленный изнутри — пришёл на праздничный обед, всё застолье протяжно просмотрел на губернатора — почему, почему его так и не пригласили к столику его превосходительства? Благодетель, директор московской фирмы «Форсайт-хаус», отливший колокола и устроивший бесплатный обед, сказал тост, что он больше всего любит православную веру и Россию. Лицо грубое, с сильными челюс-



тями. За ним детина с утиной головой и вторым экземпляром того же лица. Видно, охранник: озирается по сторонам. Священник сам не свой, как в лихорадке, всегда бывает таким, когда ждёт начальство. Ни в каком клубе или народном театре не получишь столько странных, конкретных впечатлений. Почти каждый житель здесь, в городе — актёр. Потому что актёр, лицедей вообще — главное лицо нашего короткого времени. Даже Людмила Михайловна с Ирой изображают барышень в нарядах эпохи царствования Николая Павловича...

Сколько же было в жизни Николая Николаевича таких дней, отданных ироничным и суетным наблюдениям, теперь уже не смешившим, не изумлявшим, как в молодые годы. А сколько было пустых, бесполезно мучительных ночей, когда — лежишь, не встать, такое особое состояние тоски: тело на кровати, а душа во тьме: расслабилась, бессильно слилась с этой тьмой. Каждая сила, передвигающая мысли, оставила тебя, умерла, да и мыслей самих нет, то же тёмное и пустое сжимается над лицом, над мозгом, над вместилищем мыслей... Близкая смерть это, или болезнь, или граница, за которой, может, последует оживление души в ином качестве? А сейчас усталое бессилие выстилает это тёмное, бездонное гнездо души неприятным сновидением...

Николай Николаевич плутает в подземных развалинах — завалило какой-то монастырь или усадьбу. Он обнаружил пролом в кирпичной кладке — это, как оказалось, верх стены, внизу — большой зал. В нём, как в запаснике музея: картины, иконы, громоздкая мебель. Николай Николаевич через пролом спустился туда по стене, ходит, рассматривает. Где-то, в другом конце зала, под потолком горит слабая лампочка. Свет тусклый, ночной, заслонённый мебелью, деревянными щитами, стеллажами, между ними — тёмные и синие провалы теней. Но вещи яркие... Пора уходить, выбираться по выбоинам в краснокирпичной кладке, но он никак не может найти того лаза под потолком, в который спустился сюда.

Встал, не зная, как быть, у фанерного листа, прислонённого к высокой спинке старинного кресла. В кресле — густая тень, смотрит, а в этой тени проявляется человек в чёрной рубашке, с трубой на коленях. Сидит, готовится играть. Похож на того самого, уже умершего кривоногого музыканта из оркестра, выступавшего когда-то в соборе, переделанном на Дом культуры. Николай Николаевич испугался: а вдруг он подумает на меня, что я вор? И тут сбоку из тёмной тени от стены появляются ещё люди. Общественник с лицом бадейкой, потом благотворитель, потом, о, ужас! — стоит, повернувшись боком, он сам, Николай Николаевич, то есть его двойник во вьетнамской курточке. И Николай Николаевич к нему поворачива-

ется — боком, стараясь не смотреть, но замечает боковым зрением, что за ними плотно тьмятся ещё какие-то мнимые люди. Он, отвернувшись, уходит и как-то выбирается из развалин, но, плутая, не узнаёт места. Он попал в другой, незнакомый город, нет и областного департамента культуры. Дома под старинными крышами, башни, белая стена монастыря... И тут от тоски он проснулся...

Вяло удостовераясь внутренним зрением, как слова его всё дальше отстают от ночного, подземельного провала, рассказал свой сон жене. Она разогревала кусочки курицы на сковороде, молча выслушала: «Ты сам чай будешь заваривать?» По утрам она вставала первой, Николай Николаевич удивлялся, какая она всегда, несмотря на невзгоды, бодрая; как старательно наряжалась, выглядела намного моложе своих лет, статная, видная. Она на год постарше его, но мужчины и теперь, особенно разные мелкие начальнички, как он ревниво подмечал, подбивают к ней клинья. Его мучило тревожное одиночество, о котором он года два подряд пытался рассказать ей. Он в такие редкие минуты, бывало, загорался, хотел вложить в несколько фраз сжатые в душе чувства и размышления, но этого не получалось, и жена не понимала. И всё, что он сделал за четверть века: диссертация, монография, экспозиция — казалось недоовоплотившимся. И всё больше становилось бы чужим, ненужным, если бы не Ира...

Жили они с женой, Любовью Николаевной, в угловой квартире на третьем этаже, единственный сын их женился, переехал в соседний город. Под окном Николая Николаевича комнаты рос молодой клён, быстро тянувшийся вверх. Макушка под солнцем уже теплела нежно-оранжевым цветом, верхние листья с неё улетели после ветреной, дождливой ночи. Николай Николаевич подбирал их в ту, последнюю, осень и приносил на работу, в музей, пробовал на их просветном пергаменте что-то писать. Ему шёл пятьдесят восьмой год. Он всю жизнь прожил здесь, если не считать годы учёбы в московском институте и аспирантуре. У него было круглое, широколобое лицо северянина, низ по скулам мягко заострён к подбородку, губы упрямо и одновременно безвольно как-то поджаты. Волосы русые, всё ещё чуть вьющиеся, он старательно зачёсывал назад, и они спадали на уши. Широко расставленные глаза капризно голубели, светили болезненно ярко, с плоским блеском — узкие, продолговатые, чаще они были подёрнуты лёгкой тревогой. Он избегал смотреть прямо в глаза собеседнику, но иногда, сбоку, когда этого не видели, зацеплял пристальным взглядом, точно утаскивал в себя, лицо или предмет. В монотонном голосе, в напряжённых позах распознавались усталость и растерянность, может, и страх перед жизнью. Но это соседствовало с невидимыми сторонами его характера: пусть

и поприрушенной, но — жаждой дерзаний, с беспокойством духа, фантастикой. Стремление к острому анализу совмещалось у него с детской наивностью суждений и поступков. Так говорила о нём уже после его смерти жена.

Два года назад, когда Николай Николаевич полюбил Иру, она, как он часто повторял про себя, была похожа своими светлыми волосами и нежной улыбкой на июньский, светящийся одуванчик: его хочется поднести к губам, к своему дыханию — от одного её вида, когда она выбегала навстречу весёлая, лёгкая — дыхание у него замирало, а душу охватывал солнечный бесплотный огонь... Ей было тогда уже сорок три года...

Особняк, где находится библиотека, обнесён кирпичным, жёлтым забором. Толстые столбы широких, массивных ворот, белёные, с башенками — раньше здесь была больница — один художник даже нарисовал их, так и назвав свой этюд: «Больничные ворота». Весенним днём на сером, похожем на пемзу, пыльном асфальте, стояла Ира, солнце било на неё из-за столба, и от этого жёлтого цвета толстой стены отблески стали гуще. В решётчатых тенях двора он увидел её светловолосую голову, весёлое, милое, смеющееся лицо, и такую знакомую уже, ладную и быструю фигурку, а внутри точно полоснуло жёлтым, густым, жарким светом, и он замер, почувствовал вдруг нежное, сильное вожделение к ней и заволновался. Так случилось и прямо в кабинете, где она сидела за старинным коричневым столом, или когда он встречал её случайно на улице. Он смущался своего волнения, торопился уйти. Это состояние было не перебороть: властное, изумляющее — такого он не знал уже с юности. Но и тогда оно было грубее, телеснее, тяжелее. Тогда говорила плоть. А теперь влажным, горячим огнём занялась душа... Справившись с собой, он заходил просто посидеть около неё минут десять-пятнадцать. «Вот уже немолодая женщина с двумя детьми, может, она на свою зарплату и не доедает, но она свободна, будто бы и не заключена вместе со мной в темницу этой жизни, а я — чувствую себя узником», — растроганно думал он, — хотя всегдашнее состояние пленничества, порабощённости грубой суетой — растворялось, душа становилась радостной...

Ира, остановившись у ворот, что-то сказав, пробежала мелкими, точно мышиными, шажками, легко касаясь асфальта: походка у неё быстрая и немножко с наклоном, перебежками — появлялась она перед Николаем Николаевичем, как ему казалось, всегда внезапно, будто вынырнувшая русалка: «Душой она вся создана из воды, — умиляясь, думал он, всё отражает, податливо зачерпывается, принимает любые формы, но в руки не даётся... Светлая, солнечная,

раскачивающая и маниющая. У неё, как на Волге солнечное дно, — прозрачные глаза, всегда удивляющие меня. Глядишь, будто уходишь вглубину, что только кажется мелью, но там нет дна, шагнёшь — и сразу провалишься в медовое, влажное тепло... А может, и смертную прохладу... Любовь и смерть — сёстры. Всякий по-настоящему влюбленный знает это. Любовь совершенная может только возрастать, то есть переходить в высшее. А переход в высшее и значит — смерть. Всё прежнее становится незначительным, то есть умирает...»

Позднее, в тяжёлой болезни, он раздумывал уже трезвее, за что же всё-таки полюбил её? За две-три черты в голосе и жестах, которыми она напоминала его давно умершую мать? У Иры не было ни особенной женской прелести, ни достаточного образования. «Сердце у неё умное, — вспоминались ему слова Любви Николаевны, — но умом она и саму-то себя не осознала. Счастья у неё не будет». И опять что-то подсказывало ему сравнение с водой: она была пустая, ясная, прозрачная, как родничок; над ним наклонись и не видишь воды между песком дна и воздухом. Все зеркала врут, а из этой женственной пустоты наплывал на тебя твой чётко правдивый образ, и, не судя — судила, и он впервые увидел в ней себя настоящего, в той законченности, какую придаёт близкая уже старость.

А в то счастливое лето как-то раз рано утром, чтобы сократить время до встречи с ней на работе, он вышел за город. У опушки бора — заброшенное колхозное поле, заросшее яркими берёзовыми кустами и светлыми, молоденькими сосенками. После июньских дождей оно посвежело, трава — выше пояса, сосенки стоят нарядные, весёлые: на ветках, как игрушечные наконечники, свежие, нежные ростки, заметно подавшиеся вверх. Ещё недавно они были, как свечки из бурого воска. Уже жарко, звенят насекомые, перекликаются о чём-то своём, загадочном, птицы. Буднично и празднично одновременно, как обычно бывает в конце июня, когда начинают цвести иван-чай и липа, белеют тенистые тропки от тополиного пуха. А здесь, в задичавшем поле у сосновой опушки, всё бело по-особому — никогда он не помнил, чтобы было столько ромашек. Высокие, чистые, промытые после дождя. Этот невестин цвет, словно утешение матери сырой земле за то, что поле задичало. А может, это в радость ей, что она, наконец-то, отдохнёт от многовекового труда, от пахоты, и вот эти радостные её чувства, её вздохи свободные — встали белыми кружевами, будто тысячи маленьких невест закружились по полю. Восстали праматери Руси: и каждая — мерянка или древлянка, чудинка ли — у них ещё больше тысячи лет впереди — гадают о своём будущем. И мы погадаем: любит нас мать сыра земля или не любит? — просветлённо думал Николай Нико-

лаевич. — Быть или не быть России здесь или за Уралом?.. Или навсегда задичать, как это поле, уйти в травы, в кусты, в непорочные цветы и птичьи песни и стать Христовой невестой в ином времени, в иной стране...

Мягкое утреннее тепло приятно, по-домашнему нагревало безрукавку. Он стоял, чувствуя кожей все шорохи, звуки и сияния, и будто истаивал в них... Тогда ему впервые в трогательных мечтаниях представилась мерянка, следовавшая за своим умершим мужем в иной мир, и он наметил построить новую экспозицию о древнерусских женщинах. Почему по сравнению с византийскими среди них так мало святых? Потому что, наверное, вся их жизнь ушла в землю, вот в такие заброшенные поля, в семью, в под государства. Бабий век здесь, как было высчитано на недавно раскопанном средневековом кладбище, в среднем составлял тридцать девять лет. Столько тягот и болезней выпало тем безымянным жёнам... Теперь жизнь их можно назвать подвигом, думал он, по сравнению с нашей, когда душа распадается на сумму помыслов и приражений. И женский тип, сотворившийся из всех этих мерянок, чудинок, кривичанок, из Доброшек, Жирочек, Домашек, Страшек, разлагается...

Николай Николаевич часто говорил Ире комплименты, всё более и более игривые. Иногда она кокетливо жаловалась, отвечая на них: «Да, вот я такая хорошая, а никому не нужна!» А один раз сказала, что она родилась в марте, в один день с заведующей, поэтому их жизни схожи: счастья нет. Он ответил не очень ловко, но, сильно волнуясь, что она ничуть не похожа на заведующую, хотя бы тем, что хорошо сложена. Она как-то по-детски, по-девичоночьи беспомощно смутилась и, не справившись с прорвавшимся удовольствием этого смущения, растерянно, с радостным лицом мелко, иронично закивала, стараясь изобразить насмешливость, но улыбка, осветившая всю её, от того стала ещё беззащитнее и счастливее. Он замолчал, удивляясь и любуясь ею. А через день или два, заговорив с ней в кабинете, быстро вставил приготовленную фразу: «Вы мне очень нравитесь, я вас люблю...» «Хоть кто-то меня любит», — вытянув губки трубочкой, отвечала она и тотчас же вышла в читальный зал. Это же он повторил и на другой неделе. «Когда любят — это приятно», — не глядя на него, и равнодушно, точно не придав значения смыслу его слов, сказала она...

И наступил солнечный, один из последних дней лета. Николай Николаевич жалел, что не запомнил число. Волга в окне за прозрачной шторой, нежные, размытые линии сосновых и берёзовых лесов вдали, на той стороне. Он сидел за журнальным столиком. В читальном зале она была одна на своём рабочем месте у настоль-

ной лампы, к которой она льнула кошачьими, ласковыми движениями, грелась, тёрлась о её разбавленный солнцем свет и, будто уворачиваясь от его признаний на стуле, повторяла, всплёскиваясь тонким, девчоночьим голоском смешно и немного растерянно: «Такие слова! Такие слова!» — «Только вы не смейтесь надо мной!» — попросил он. «Это вы надо мной смеётесь!» — вдруг подхватила она. Взгляд у неё стал влажным, глубоким — тогда он и заметил впервые, что глаза у неё солнечные, нежные. И изменившимся голосом, внезапно ласковым, грудным, густо заворковавшим, которого он от неё больше не слышал, сказала: «Идите домой, а то так долго оставаться неприлично». И ещё, помедлив, прибавила, уже тише: «У вас жена: я очень уважаю Любовь Николаевну и не хочу, чтобы до неё дошли какие-нибудь слухи!» Это минутное изменение голоса коснулось каким-то ненужным, лишним чувством, осело на душе — будто нечаянно плеснули вином на белоснежную скатерть. Позднее он вспоминал, перебирая те дни, что похожий, грудной, непрозрачный голос был у Марины.

На другой день утром Николай Николаевич вбежал к ней в кабинет. Она сидела, наклонив голову, боком к нему за старым коричневым столом. Он быстро, боязливо, пытаясь поцеловать, ткнулся губами в волосы ей, возле ушка, там, где заметил, у прямой, белой раковины, ближе к щеке, темнела маленькая родинка. «Вы перешли все границы», — не отстраняясь, лишь смущённо спрятав лицо в ладони, сказала она, и голос её, нежный и укоряющий, зажурчал в его душе, как радуга. А в конце разговора опять сказала упрямо: «Вы хотите просто приободрить меня!» У неё был милый, ещё возбуждённый его признанием, даже немного игривый вид. Пересела на своё рабочее место — ногу на ногу, в вельветовых чёрных брюках. Волосы точно светились, часто шутила. А он суетливо искал «Русскую Правду» в красном переплёте, которая будто бы ему понадобилась, и она подошла помочь, и вдруг, призывно улыбнувшись, стала отступать от него в угол в тесном проходе между полками. Подумала, наверное, что он обнимет её: заняла смешную оборонительную позу. И он, обрадовавшись, спросил: «Вы боитесь меня?» Она, точно спохватившись, опустила руки, сказала, задорно улыбаясь: «Вас? Чего мне бояться?..»

Николай Николаевич облокотился об её библиотечный стол, кафедру. Умилился, что рот у неё совсем детский, беспомощный. Ему так хотелось его поцеловать, но губы у него от волнения пересохли, и он не решился. А какие у неё были глубокие глаза, неизъяснимо милые, сияющие, казалось, они ему давали надежду. Разлёт бровей, за который можно умереть. «Такие глаза обмануть нельзя!» — ска-

зал он ей. А дня через три она из-за той же кафедры уже выговаривала ему: «Надоело, вы всё про глаза да волосы говорите!» Но ещё долго он просыпался затемно счастливым, лёжа в постели, в мыслях говорил ей о своей любви, ждал, когда рассветёт, когда можно будет вставать и идти к ней. Он не мог без неё прожить и дня. Начинал считать часы, особенно невыносимыми стали выходные дни... «Ира, ты стала мне, как окно, в которое глянул Бог», — вспомнившуюся из какой-то книги фразу повторял он.

С тех пор всё так и продолжается: Николай Николаевич ходит в библиотеку почти каждый день... «Хватит, — иногда с утра принимается укорять он себя, — мне это стало очень трудно. Уже чувствую, в библиотеке на меня пялят глаза... И правда, кто этот морщинистый безнадежный человек? — вяло бреясь, разглядывает он себя в зеркало. — Кто-то невидимый, прозрачный примешивается к тебе изнутри, чувствуешь его тяжесть, будто душа наполняется стеклом. Этот невидимый, прозрачный двойник, давящий, виснувший на душе, всегда недоброжелательно и остро подсматривает изнутри за всеми твоими мыслями. Вот он и стоит в зеркале. Это не ты!» Сегодня ночью Николай Николаевич опять не мог заснуть, встал разбитым, серые то ли мысли, то ли страхи под сердцем. Страхи сначала исчезли, когда он полюбил Иру, а теперь возникли снова.

«Нам уже пора, а то я опоздаю на планёрку!» — говорит жена. Уверенная, деловитая, взгляд чуть насмешливых глаз ясный и твёрдый. Тоже устала от суеты, знал он, но виду не показывает. Стали переходить загазованную, шумную площадь перед монастырём с памятником древнерусскому князю, основателю города — асфальт будто прогнулся, ноги подмыло, и Николаю Николаевичу показалось, что он сейчас упадёт. Неужели вернулась старая, давно забытая болезнь? Тысячи раз он переходил эту площадь, однажды стылым октябрьским вечером после партийного собрания, на котором его крепко отругали, чуть не попал под самосвал. Едва успел отшатнуться — у плеча громоздко пронёсся, холодя мертвенно красной подсветкой, грязный зад кузова. Музейная работа ему давно омерзела. Боялся он и людских сборищ, знакомых теперь обходил, испытывая непонятную, колючую тревогу. Жена шла рядом, будто в другом мире. Странно, но она не мешала его любви к Ире. Ему нравилось представлять их вдвоём в квартире за каким-нибудь уютным, домашним делом. Он думал, что любил их одинаково, хотя и по-разному. Как по-разному — сам ещё не понял. И томился: ему хотелось признаться в этом жене...

Вечером, поговорив с сыном и снохой по телефону, что Любовь Николаевна обычно делала каждую неделю, она вдруг спохвати-

лась, вспомнила Николаю Николаевичу приснившийся ей сегодня сон. Будто бы тёмная ночь, речка, каменистый берег. А на берегу лежит камень, средней величины валун. Он светится белым светом, и от этого ночью вокруг всё видно. И этот белый камень — слово. Мы ищем слово, рассказывала она, удивляясь, и вот находим его. Природа света, озаряющего тьму, — иная, чем у обычного света, — это твёрдый белый камень, рождающий беспредельный свет...

Он плохо слушал её сквозь убаюкивающее, любовное самозерцание. Лишь на минуту оно развеялось странным, будто бы знакомым удивлением: точно потянуло в размягчённые мысли низко стелющимся, тревожно выползающим из холодной ночи туманом. «Откуда у неё такой сон? — забеспокоился он. — Хотя что же здесь удивительного, — тут же подумал, успокаивая себя, — она журналистка, вот ей и снятся сны о словах».

«Почему я боюсь? Иру так и не сумел ни обнять, ни поцеловать. Ну что, она меня ударит, укусит, если я её обниму? В любимой женщине открывается точно какая-то бездна, — пытался объяснить себе это чувство он, — боишься не её, а того, что стоит за ней: что-то необъяснимое, неведомое. Прикоснёшься — и вдруг оно откроется... Но это лишь чувствуется, любовь — лишь намёк на это... Эхо оттуда, из иного мира, отражённое в твоём сердце, даёт тебе своё чутьё. А почему мы боимся смерти? Потому что так же мы боимся не самого физиологического акта её, а того, что стоит за ним — неведомого и грозного. Вот почему она так страшна. Такое же суеверное чувство вызывает и любовь. Потому что корни её здесь от нас скрыты и проясняются только в ином мире, где души соединяются или разъединяются навеки... От этого, наверное, я часто и переживаю: внезапный страх, озноб мгновенный: а может, Иры нет? Надо сходить, посмотреть... Она такая летучая и хрупкая, что, кажется, вот-вот рассеется, будто её и не было в этом мире. Что-то у неё есть и мальчишеское в движениях неровных, в жестах, как у девушки-подростка, и что-то такое милое, хорошо знакомое и родное — в улыбке, в повороте головки, в смехе. Голос становится иногда быстрым, тихим и проникновенным, сливается, как шум осенней листвы. Она спохватывается, резко разворачивается плечами, вскакивает, походка бегущая, утекающая — будто она уходит от меня, уходит из этого мира... Зачем тогда, в углу между полками, я не попытался обнять её?» Теперь только до него дошло, что в её смешной, воинственной позе, выставленных руках и игриво блестящих глазах было: «Можно, попробуй!»... Третий день, вмешиваясь в эти мысли, шёл вялый, осенний дождь. Николай Николаевич, просыпаясь рано, в темноте, вслушивался в его шуршание и шёпот, такой же, как и сто, и двести лет



назад в этом городе, и мысль совершала скачок, уплывала в сторону: «Или, может, просто — так полюбив её, я, наконец-то, избавился от себя?.. Перестал и думать о себе, теперь думаю только о ней. Как будто умер сам для себя...»

Вечером он пошел под крапывающий дождик гулять — через кладбище. У ограды могила с небольшим мраморным крестом — это Марина. В сумерках на фотографии лицо её показалось ему злым, и он вдруг затревожился, что Ира чем-то похожа на неё, может, этим чудесным разлётом бровей? У Марины ещё между ними появлялась углубинка, когда она отводила свои рыжие глаза и сердилась. Только Ира — светловолосая, а та была мрачная, чёрная. А вообще-то вид у неё был глупый, она была очень недалёкой и вульгарной. Воспоминания о ней были — тёмные и мстительные. «Лучше бы ты не ходил к ней на могилу», — сказала ему раз жена.

У чёрной, посыпанной шлаком грязной дороги — обглоданный куст, а на нём висит пластиковый стаканчик. Пошёл дальше, к полю, заросшему кустами, вошёл в сырой сумрак с толстыми, в чёрных морщинах стволами берёз. Постоял в тронутой серо-жёлтым тленом траве: «Вот где хорошо умирать... Зачем я полюбил Иру? Затем, что она мне осветила путь к смерти: теперь видно хорошо, просторно — до самого конца жизни. Да и простора уже немного осталось. Вот как это липкое, в сизой дымке, в обгрызенных кустах поле перейти, а там, за высокой, ровной, чёрной берёзовой рощей — уже на нездешней меже ждёт, раздваиваясь, ангел любви и смерти. То, что несчастье или смерть внезапная обрывает нас на каком-то интересном деле, или только найденном рецепте новой жизни, может, свидетельствует о том, что там, в мире ином, дело ли, мысль ли эти будут продолжены в высшем образе, там они станут частью нас. Не надо сожалеть о недостигнутом. Лучше шагнуть вперёд, к его надзвёздному продолжению...»

Думал, глядел: всё небо в накипи сумерек, будто им ноги вытирали, и только на самом горизонте, где сегодня невидимое в тучах село солнышко, — светлое, наивное пятнышко... Ночью во сне испытал болезненное чувство, что жизнь началась снова, и он, молодой, идёт в тяжёлой, как смерть, осенней ночи к Марине, и впереди — скучная встреча, скучные слова, повторение уже бывшего... Сыро, тепло вокруг, по заборам, а под ногами у Николая Николаевича улица почему-то стылая...

А наутро опять, как провалился в тревожный, блаженный мир ожидания — встречи с Ирой. В памяти мечутся цветные обломки прошлого, Ирины глаза, свет, *не сравнимый с солнечным*, тёплый и

близкий, который может излучать только плоть любимой, и соты загадочной, приоткрывшейся в своём мерцании, её души... Она и в нём, внутри, была: самая близкая и — далёкая, как будто её нет. Откуда это «нет»? Оно находит, пугая, мгновенно. Каждый день перед белыми высокими дверями он не верил, что увидит Иру. Каждый раз, входя, он задышался от волнения: «Сейчас открою, — а тебя уже нет, только коричнево-охряная — тень, куда ты, светящаяся, русоволосая, ушла. Ты была такой достоверно чудесной, что каждую минуту — будто уходила, утягивалась отсюда». Особенно он чувствовал это в паузы, в провалы в иное, возникавшее во время разговора. Так, бывало у него, зайдёт сознание куда-то в сторону, в боковые ходы своей норы, очнёшься — и будто цельную, отдельную жизнь прожил в ином мире, где за эти секунды был кем-то другим. А то глянешь быстро боковым зрением — и, ещё не успев скрыться, рванёт, точно рваная коричневая дыра в материи мира, и исчезнет. Или какой-то чёрный ком, сгусток ожившего вещества, не то нездешнее существо, притворявшееся хоть уличной урной — мелькнёт у ног и провалится в колодец того света — прямо перед тобой, в лопухах перед забором...

Жизнь — откровение: каждая встреча, каждый человек — явление ангела: даёт смысл, соединяет прошлое и настоящее — так просветлённо чувствовал Николай Николаевич, рассказывая Ире и про свою первую любовь, полненькую, черноволосую, злую и распутную девчонку, которая теперь лежит под мраморным крестом. Тогда ему было лет шестнадцать, а ей семнадцать. Вдруг она не пришла на свидание, и оказалось, что она попала с подозрением то ли на дизентерию, то ли на скарлатину в инфекционное отделение больницы, или барак, как его попросту тогда называли. Посетителей туда не впускали. Можно было лишь что-нибудь передать через медсестру или тайком, в форточку. В сосняке окнами на колхозное поле стояло это длинное, унылое, больничное строение. Это было, кажется, на исходе зимы или в марте. Вынужденное своей подружки заключение он решил обернуть в пользу, принёс ей книг: Маркса и Ленина. Сорок дней лежать, думал он, и она от скуки прочтёт все эти труды, которые даже ему в обычной жизни не очень поддавались. Но она тут же встала на подоконник и в форточку том за томом спустила их ему прямо на голову: «Вот тебе!» В пижамном костюме в обтяжку высилась за стёклами, близкая, злая, с растрепавшимися крашеными рыжими волосами. Через день они уже научились тайно устраивать свидания. Только предупредила перед этим она своим низким, тяжёлым голосом: прикасаться к ней нельзя, а то можно заразиться. Вечера были ранние, зимние, уборщица уходила

рано, и можно было открыть дверь на крыльце и войти в сени. Верхняя одежда у неё была заперта в чулане. Она вышла в пижамном костюме, а в коридоре было так холодно, что, несмотря на неуверенные, остерегающие движения, он сразу же крепко обнял её, укутал полами пальто. Он не боялся заразиться от неё. Так и обнимал её вечер за вечером в этих настывших тёмных сенях с какими-то бачками, лопатами по стенам и решётками на окне, и когда стужались холод вечера и тьма — всё вокруг будто обваливалось, распадалось, мир становился чужим, оставались одно её мягкое, тёплое тело, странно осязавшееся во тьме, и влажность поцелуев, ощущением своим сохранившаяся на всю жизнь и вот вспомнившаяся теперь, в холодном октябре, перед красно-золотым, как в маскарадном одеянии, истаивающим под окном клёном, когда эта девушка, ставшая обрюзгшей, испитой тёткой, давно уже лежит в могиле. Николай Николаевич ощутил теперь ту влажность во рту, как землю, которой скоро станет: иную, нездешнюю; такой землёй стало уже и тепло её тела, блеск глаз в темноте, и шероховатость волос под ладонями, жёстких, тоже тёплых, и молчание, их живое счастливое молчание, которое насыщало, казалось, не только их — передавалось самому воздуху, сумеркам, темневшим в зарешёченное, серое, обмёрзшее окно. И плечи, и руки, и тепло их тел под полами пальто, в темноте, счастливо, приглушённо замирали, чтобы слиться со тьмой, не выдать себя чужому миру и так пробить ещё минуту, ещё пять, ещё три... Вернуться от порога, ещё раз обняться, и вдруг оказаться в пустоте, на крыльце, тупо отзывающемся шагам по ступенькам, у тёмных сосен, на твёрдом пепельно сереющем снегу, и вот уже улица и дом, и свет электрический, и будто не было её, её колен, которыми она прижималась, и мягкой груди, и влажного рта... Так и оказалось в один из вечеров, когда он по засинившейся между сугробами вечерней тропке, пересекая глухие тени сосен, подошёл к барaku. Её уже выписали. Диагноз у неё не подтвердился. И в тот же вечер они гуляли по улице, как обычно... «К чему бы вспомнилось все это? — мечтал Николай Николаевич. — Опять, как в сказке, я забрёл в какую-то иную страну... Да и вся наша жизнь с её закоулками, боковыми норами и бараками, может, и есть иная страна, в тенях и тьме, а настоящая — за ней?»

С тех пор, как он попытался признаться жене в своём любовном раздвоении, у них почти каждую неделю дома случались ссоры. Он не ожидал, что она такая ревнивая. Поняв, что про свои чувства к Ире рассказал ей зря, пробовал всё обратить в шутку, или, ссылаясь на фантастику воображения, переводил разговор на новую экспозицию, на реконструированный образ мерянки, который ему помо-

гла создать Ира, но яркие, бледно-голубые глаза его выдавали: блистали нежно и лукаво. Жена его таким никогда не видела. Шутки его имели обратный характер. Часто после таких препирательств, когда она его уличала во лжи, они по два дня не разговаривали. А потом, к концу недели, мирились и снова Любовь Николаевна, гневно сводя высокие брови, узнав, что муж, как она это называла, «ходил в параллелку», выговаривала: «Ты целовал руку у уборщицы!» Ира, действительно, в музее подрабатывала на полставки уборщицы. Глаза у Любви Николаевны блестели, ревность молодила и разжигала её, как это бывает с долго прожившими вместе людьми, она легко догадывалась о его переживаниях и фантазиях. Поуспокоившись, убеждала: «В ней, конечно, много хорошего, но она — не по тебе, лучше с такими людьми не сближаться».

В своём дневнике, который Любовь Николаевна вела лишь в кризисные годы жизни: во время беременности или когда что-то не заладится в семье у сына — она писала: «Слабая женщина: муж попросил написать заметку в газету о новой экспозиции. Я пошла в музей, взяла информацию, интервью. Видела И. Некрасивая, молодая. Манера общаться — искательная, забегает наперёд с тем, о чём её не просят. Может, этим и покорила? Посмотрела выставку, электронную книгу с мерянкой. Исписал старательным, стилизованным под древнерусский, почерком не один лист. Вложил в эту экспозицию всё, чем дорожил...»

И опять, через неделю: «Вчера старательно рассматривала И. Надо обладать сверхбогатым воображением, чтобы увидеть в этой тихой, усталой и уже старой женщине отражение небесного света, мерянку, воплотившуюся вновь в телесной оболочке через тысячелетие и так далее. Запавшие глаза в глубоких морщинах, впавший, сжатый рот. Желание быть незаметной. Не оттого, что много внутри, а от страха перед жизнью, от ущербности. Недостаток жизненных сил. И ему такое нравится?..»

У Николая Николаевича был выходной, с утра, пока он ходил в сосняк на прогулку, погода несколько раз переменялась. Ледяной ветер пригнал настоящую зимнюю снеговую тучу, разродившуюся, правда, обычной слякотью и моросью; два раза выглядывало солнце, а потом небо опять низко, болезненно засерело. Так же стало и у Николая Николаевича на душе. После обеда он никуда не хотел выходить из дома, но позвонили из бухгалтерии — получать деньги. Он пошёл, с тоской вспоминая, как когда-то Ира ему улыбалась просто так, она изменила своё отношение после того, как он открылся ей. Куда девалась та приветливая, ласковая улыбка, в которой вся душа её отворялась? Теперь она чаще непроницаема, иро-

нична или рассержена, а улыбка её стала насмешливо осторожной. А то вдруг сказала ему, усмехнувшись: «Вы ещё меня не знаете!» Рот у неё детский, капризный, и вот что он рассмотрел недавно — озорной... А жена?.. Но не успел он подумать о жене, как тут, за этими мыслями, в узкой улочке у департамента культуры увидел — Иру с Людмилой Михайловной. Он смешался даже: за последний год, начиная с января, сколько раз думал встретить её на улице, всего раза два встретил, а сейчас, когда не хотел бы её видеть, сама идёт. В синей курточке, бледная, с непокрытой головой, волосы раскиданы. Даже жалко стало, подумал: «Стоит ли на такую обижаться, совсем девчонка». Что-то объясняла Людмиле Михайловне и его окликнула высоким своим голосом, чтобы приходил за фотографиями варяга и мерянки. Она давно уже сделала для него копии. Затея с фотографиями была лишь поводом, чтобы лишний раз увидеть Иру, поэтому Николай Николаевич и не спешил их забирать. Николай Николаевич пробормотал «спасибо». Когда он вышел из бухгалтерии, посыпался из набежавшей тучи мелкий, холодный дождь, но тут же глянуло солнце, и серое небо за ярко жёлтыми берёзами, отозвавшись лучам, засияло сталью. А всё тяжелое настроение, мысли о старости, тоска сразу отхлынули. Так всегда бывает после встречи с Ирой.

Вчера, увидев Иру, охладился, даже удивлялся, за что её так полюбил? Сегодня же утром проснулся Николай Николаевич — опять другой человек, точнее прежний, первые мысли — о ней: опять хочется идти в библиотеку. Ходит, сидит, читает ли, дома ли, в музее — всё она на уме. Он и молиться в последнее время почти перестал, потому что всё время находился как бы в молитвенном размягчённом состоянии. Встанет перед иконой, начнёт, а в сердце — полоска белого тела, выглянувшая из-под блузки, когда Ира нагибалась у книжной полки. Или её губы, голос, волосы, нежное, плотное тепло её образа, который постоянно, как свеча, топился и не растапливался в нём... «Только позапрошлым летом, — вспоминал он, я на два или три месяца потерял к ней интерес, так удалось вернуться, перебороть себя. Или я это выдумываю сам себе? Иногда, впрочем, мне кажется, что и любовь моя — большая выдумка, сон, засосавший меня до смерти».

Он испытывал странное, рассеянное чувство жизни, почти такое же, как в новой экспозиции. Копья, луки, щиты и тулы — всё расписано глазастыми красками. Эстетика оружия: тонкое, весёлое, женственно коварное. Действительно ли такими, игрушечно раскрашенными палочками люди кололи и резали друг друга? Муляж щи-

та, как трактирный поднос: круглый, расписной — зелёное с красным. Рядом глупая мёртвая железная маска — боевая личина. Мысли начинали укорять: «Неужели и жизнь наша — такой же бутафорский призрак-карнавал, как вот эти пёстрые зелёные и красные щиты и колчаны, луки и копья, сделанные на заказ московскими художниками? Говорят, каждое наше деяние и каждая даже мысль имеют отношение к жизни отошедшей и приближают или отдаляют встречу с ней. Или мы никогда не узнаем, как выглядела прошлая жизнь наяву? А если не узнаем, почему тогда томит эта тоска по ней, и так насмешливо выглядит эта бутафория?..»

Так привычно, безотчетно множились мысли, и он переходил к мерянке. — На электронной картинке мерцало раскопанное захоронение. Вперемежку с перержавевшими остатками железа и глиняных сосудов раскинулся большой обгоревший скелет с огромным черепом. А рядом, будто подростковый костячок, только тазовые кости — широкие, женские. Аккуратный круглый череп точно прильнул к витязю, закатившись ему под мышку. Николай Николаевич составлял текстовки для экспозиции о таких парных погребениях. Небольшой курган этот раскопали несколько лет назад. Фотография раскопок особенно его поразила: крупный скелет, судя по остаткам снаряжения, мужа-варяга, и маленький — его жены, скорее всего из местных, мерянки. Она ему и во снах снилась в праздничном наряде, височных кольцах, в привесках с золотыми коньками...

Он, увлекаясь, играя, говорил Ире:

— Вы чем-то напоминает мне древнерусскую женщину из двенадцатого века, Евдокию. Муж её, сборщик податей, уйдя в монастырь, стал святым подвижником. По летописцам и разным археологическим находкам, насколько это возможно, я даже составил их родословную. Вот как раз у Евдокии, как подсказывает мне чутьё, одна из пращурок и могла быть ославянившейся мерянкой, а муж у той мерянки — варягом. И когда он умер, мерянка, по скандинавскому обычаю, пошла провожать его в небесное царство. Выпила растворённое в меду *коренье, зелье лютое*. — И он так же, полувсерьёз продолжал толковать Ире, что взял у неё для своей реконструкции мерянки глаза, волосы, круглые скулы. — Образ этот, опираясь *о случайное как бы*, то есть о схожесть с Ирой, потому что случайных событий не бывает, — окреп. Также был рубеж, момент, когда эта мерянка, сама по себе, встретила там уже с моей воспринимающей мыслью о ней, и теперь всё время осязает её. То есть встретились Доброшка с Ирой, ставшей лицом моей мысли. Доброшка глядит там — и в вечном зеркале иного мира видит Ирин образ...

«Фантастично, — продолжал растолковывать он это тёмное место уже самому себе, дома, — но не оттого ли вокруг Ириного образа столько цепкого, живого света? Не оттого ли не только эта безнадежность: вдруг Ира исчезнет? — но и тонизна, блаженство... и слышишь, как веет от неё нездешним ветерком оттуда?..» И Николай Николаевич ещё убедительнее почувствовал, как образ мерянки, после разговоров с Ирой — уплотнился. «Так же и вы, Ира, как будто встретились с его смыслом, с этим вечным светом своих прапраматерей, — увлекаясь, рассуждал он, — и приняли его...» Ира, услышав это, промолчала, не поняла... Он тоже умолк, топчась, запутываясь в словах...

Он так часто терялся перед ней и в не таких, а в самых обычных разговорах. Жизнь — откровение, за каждой встречей, каждым человеком — стоит ангел, дающий смысл, соединяющий прошлое и настоящее и, как вспышками молнии, озаряющий тьму. Теперь всё время он только и делал, что намечал ей рассказать о таких откровениях, ангелах, смыслах и образах, но лишь войдёт, увидит её — всё исчезает из головы. Да и зачем все эти бесплотные ангелы, когда перед ним ангел во плоти? Николай Николаевич сильно волновался, забывал даты, фамилии, у него пересыхали губы, как это обычно бывает у пожилых, нелепо влюблённых людей.

Но это самосозерцание, в котором он тонул, — становится, в конце концов, невыносимым... Как застойная вода, зацветая, неподвижно стояла вокруг жизнь, томя ожиданием чего-то, и ни во что не разрешалась, хотя всё что-то вдалбливала в тебя своим немым языком или криком цветным вещества, для которого слух наш воздушный — глух. Закрывал глаза на ночь — так же образ за образом вытягивались в вялом стремлении появиться и уйти куда-то навсегда. Но иногда, казалось, образ поглощает тебя. И вот — смутный человек в темноте у какого-то забора, дальше — товарный вагон. Этот смутный человек и есть ты, Николай Николаевич, теперешний. Тебя будто вывернули наизнанку. А сам ты, предыдущий ты — стал всем: ночью, вагоном, сном — и любопытно следить за всем этим, играющим тебя, и ещё любопытнее оттого, что тебе всё это, оказывается, очень знакомо, ты здесь, таким, был всегда — это твоё подлинное бытие. И хочется остаться в нём, не возвращаться в то, что ты считал своей обычной жизнью; но всё вдруг, как вспышки комнатной молнии, исчезает в черноте сна, обрывая твоё изумлённое узнавание... Теперь, когда возникают такие грёзы, он стремился подалее продержаться в них и запомнить: и опять плутал по каким-то боковым ходам сознания, и там находил объяснения, находил какие-то иные причины разным будничным происшествиям, связан-

ным с Ирой. И там не было тех причин и тех затруднений, что представляли здесь. Здешнее — вдруг пустело... Но просыпался, и это понимание уходило от него, как призрачный поезд, в чёрный туннель. Опять всё здешнее обжимало. Вся тайна жизни — в полуожидании, в полусне — подмечал он...

Николай Николаевич любил рассказывать... Смешные случаи из своей жизни, книги, вчерашнее, сегодняшнее, слова, слова — не важно о чём, но которыми две души начинали осязать, видеть друг друга. Она, наклонив голову, внимательно, ласково слушает, два света ясных, уютных глаз, втягивающих в своё тепло и нежность, — зовут и не зовут его. Но он чувствовал, как жизнь его в них преобразается: то загадочно зелёные, как берега далёкие, — а то, как пасмурное и тёплое небо над Волгой, — они превращают его слова в витражи, где всё снова твёрдо, неподвижно озарено, зернисто радуется всеми бликами и цветами. И уже нет этого постоянного ожидания, тревоги, бесконечных явлений жизни, ни во что не завершающихся. Вселенная образов вздрагивает, быстро выстраивается в хороводы, голоса их радугой отдаются в сердце. Жизнь обретает голос... Это любовь, Ира. Она хочет выстроить жизнь, довершить, заключить в своём свете... Ира, ты стала мне, как окно, в которое глянул Бог... Он рассказывает ей — слова лучиками гаснут в двух больших светах её глаз. Всё её лицо, чудесно простое, милое, в такие минуты преобразается: иногда становится таким ясным и нездешне светлым, что у Николая Николаевича пересыхают губы, и он чувствует, что его болтовство не стоит таких минут, таких глаз. Надо замолчать и глядеть — они сами что-то сердцу внятно глаголют — с этим он уходил от неё всякий раз потрясённый... Дома уже обдумывал встречу, и начинался новый прилив счастья: такие же внятные глаголы, словно обретал весь мир: камни, сосны, Волга, деревня Ивушкино, где она родилась...

«Ты каждый день уходишь от меня, Ира, являешься, но не до конца являешься, и в самих явлениях своих — недостижима, я кричу тебе: не уходи! — повторял, грезя, он. — Слейся со мной в одном тонком душевном свете, в одном огне... Проводи меня в небесное царство, мне уже немного осталось... Я зову тебя — прискачи ко мне, мой белый конь, вынеси меня из болота — белый конь — бледный... Вынеси меня... Ведь каждая любовь на земле — это тропка в небесное царство. Во всяком случае, начинается всегда именно с этого. Сами по себе, без любви, люди держатся лишь магнетическим, механическим притяжением. Есть души, как сказано в одном апокрифе — из кусков: что душа отъела у другой — тем она и стала. Люди — руки, люди — челюсти, люди — двери и какие-то белые мешки...



Божественная любовь устала. Мир едва держится. Так слаба любовь в мнимой жизни. Стоит в него вспрыгнуть какому-нибудь дьяволу извне, влететь чёрному лайнеру — мир разорвётся на куски. Вот перейду я это поле, раздваиваясь на меже: любви и смерти ангел что ли стоит и ждет меня уже?..»

Так сжился Николай Николаевич с её образом, он для Николая Николаевича — страсть, должность, утеха, совесть, словом — она ему всё. С образом, в который всегда включено было что-то непостижимое — безнадёжное. Хотя тебе и мнится, что ты овладел образом, но нет — это обман, он опять исчез, растворился в благой бездне света. До конца с ним не соединиться, не совладеть. Наверное, похоже это на первую и на последнюю любовь: *ты и блаженство, и безнадёжность.*

«Я всегда была такой же, потребовалось двадцать лет, чтобы вы меня заметили», — как-то сказала ему Ира с укором. И он стал вспоминать, как впервые увидел её в библиотеке. Тогда он удивился и почувствовал какое-то странное против неё любопытство: откуда она? Это не передать, такое же чувство он испытал, когда впервые увидел свою будущую жену. Оно, скорее, отстраняет, а потом, как в последние годы, обращается в притяжение. Девушка двадцати двух лет с русыми, крашеными в жёлтый оттенок волосами, крепенькая, коренастенькая, в юбке и вязаной кофте стояла, насильственно, чтобы занять руку, держась за кромку стола, точно боясь шагнуть, с опущенными глазами, настолько скованная, с такой изнутри проступавшей неуверенностью во всей позе, что нельзя было сказать, красива она или нет. Как будто не хотела себя казать-выказывать. Вспоминает Николай Николаевич с усилием лицо, но оно скрывается, уходит, не даётся даже свету памяти. У неё был неуверенный, как бы растерянный, взгляд, который не смеет или не хочет на чём-либо остановиться, чтобы не застали его врасплох. Однажды он на какой-то вечеринке музейной, усевшись с ней рядом за столом, пошутил гостям: «А это — Ирина, моя жена!» — и на него посмотрела она таким недоумённым, именно застигнутым врасплох, взглядом, что стало неловко. Выросла в деревне, с шестнадцати лет четыре года — у конвейера на часовом заводе. Жила под присмотром, в общежитии, вместе со старшей сестрой в комнате. Тосковала по маме и больному папе, вернулась в деревню, ухаживала за ним до самой смерти, помогала матери. С мужем развелась. «Почему?» — спросил однажды Николай Николаевич. В голосе её задрожали слёзы, губы затряслись: «Он поднял на меня руку...» Николай Николаевич смутился, никогда больше о муже не спрашивал. После развода в позапрошлом лето она переменилась, расцвела. «Как одувачик сияющий, июньский, который хочется поднести к губам и зата-

ить дыхание», — любил повторять Николай Николаевич... Сначала он даже подумал, что она с кем-нибудь сошлась на стороне...

Вспоминает, а в душе у него — невнятная музыка, одна и та же изо дня в день мелодия. Как из кино, пошлая, знакомая... И вдруг узнал — это ещё один ангел, небесный гость прилетел. Просто он — под будничной личиной. Нездешний звук, прикрытый пошлой мелодией. Жизнь — откровение... Николай Николаевич, вслушиваясь, идёт по примелькавшейся давно улице, но он далеко от дождя, от серой слякоти, уходит всё дальше отсюда под какой-то тёплой, цветной метелью, ласковой, музыкальной, прощальной. Всё время с Ирой, всё время — чувствуя тепло её голоса. Её образ, как какой-то сказочный цветок, обволакивал солнечным теплом в серости, незначительности или мелкой зависти и злобе, составляющих основной фон буден: «Ведь живёшь большей частью — будто упав в яму собственного перегиба страстей, — каялся он. — Я недавно заметил: в мире не стало далей. Вместо них по горизонту — обрывы... Серый, тусклый туман за окном. Не знаю, что делать, работу забросил, дома не сидится...» И опять, когда в библиотеке подходил к белой двери, останавливался, и дыхание замирало: «Почему мне кажется, что сейчас войду — а её нет? Вообще нет, только тень на стене, на прогоревшей до иного мира стене...» Но снова совершалось чудо — его встречали её глаза...

Она сидела за кафедрой, Николай Николаевич — за газетным столиком. Читателей не было. Он подождал и подошёл, продолжил то, на чём оборвать разговор пришлось в прошлый раз — о своей юношеской любви. О том, как обнимал рыжую полную девушку в бараке инфекционного отделения и как диагноз не подтвердился... «Вы и обо мне так будете рассказывать, — упрекнула она его, — вот если бы она вас услышала!»

«Она давно в могиле», — сказал он и, облокотившись о кафедру, наклонился к Ире. Глаза у неё вблизи — большие, милые и беззащитные — выпуклые, как у зависшей над прудом стрекозы. Ясные, ласковые, внимательные — соскользнёшь в них — и забудешь всё. Эти минуты сладкого забвения — самые счастливые для него. Говорил и говорил. В читальном зале холодно, на столе у Иры лампа под матовым колпаком, она, слушая, по своей привычке, греется от неё, то плечом и щекой к ней прильнёт, то подбородком, то начнёт гладить стекло, прикладывая к нему руки с просвечивающими нежно пальцами... Но вот глаза её остановились, затемнели тревожно. Она стала прислушиваться и спросила: «Там ветер открыл дверь, в библиографическом отделе?» Николай Николаевич глянул в коридор: нет, дверь была закрыта. Здесь, в старинном доме, часто так бывало:

рамы большие, ветхие, и в щели их просачивается ветер, ходит между книжными полками, шевелит чем-то, издаёт странные звуки, может, и в замурованных в стенах дымоходах печного отопления... «Нет, там кто-то стоит, посмотрите», — прошептала она, испугавшись и как-то просительно поглядев на Николая Николаевича... Он, оборвавшись на самом занимательном месте, вышел в коридор и увидел там чернявого парня. Присев на корточки, пристально разглядывал тот в стеклянной витрине глиняные горшки, выставленные завхозом. Странный вид у парня, поднял глаза: черно, сонно посмотрел снизу вверх. Николая Николаевича сначала обдало стыдом: он подслушивает наш разговор! Николай Николаевич даже засобирался уйти, так ему стало неприятно. А Ира испугалась почему-то и вдруг впервые попросила: «Вы не уходите пока от меня». Он опять вышел в коридор к чернявому парню. Спросил, что ему надо, тот медленно, чужим голосом ответил, что только что прочитал в газете заметку про эту выставку и сразу же пришёл посмотреть. Николай Николаевич сказал, что та заметка была не об этой выставке — та выставка не здесь, а в соседнем здании. Потом появилась Людмила Михайловна. «Что за парень приходил, вы не знаете?» — спросила её Ира. «Знаю, он и сейчас внизу, под лестницей стоит, — отозвалась беззаботно Людмила Михайловна. — Это человек очень хороший... Он учился в университете, но сошёл с ума...» Но что-то суеверное в этом эпизоде всё не давало покоя Николаю Николаевичу, особенно то, что он подслушивал... «Этот ветерок нездешний, этот бес-углан, — бормотал он про себя...» Так же не давала ему покоя теперь и встреча с женщиной в древнерусском костюме. Особенно имя её, Татьяна... Медальоны её, связь с его снами, всё это — как привет от умершего два года назад старого друга, которого все его знакомые когда-то называли просто Валерой...

Когда парень ушёл по коридору, так же беззвучно, как и появился, смущение его поулеглось: «Ну и пусть подслушивал... Во-первых, эта женщина уже в могиле. Во-вторых, что он поймёт?» — думал Николай Николаевич. А Ира всё не могла успокоиться. Она в последнее время похудела: бледное, милое лицо её точно прочертилось вглубь. Она была в белом с высоким воротом свитере, разогретом светом от настольной лампы. Она опять беспокойно лгнула к лампе, гладила её стеклянный колпак, руки, наливаясь светом, матово просвечивали. Он нагнулся и поцеловал её в русский локон возле ушка, там, где у прямой белой раковины темнела маленькая родинка, а она даже не отмахнулась, как обычно... И он подумал счастливо и устало, с тем зыбким беспокойством, с каким мы обычно заглядываем в будущее, что теперь он так будет целовать её, когда захочет. Но он ошибался.

### III

Вечером, уже часов в семь, темно, и всё затянуто сухим, дымным туманом, будто где-то запалили большой костёр, и мир вот-вот исчезнет, сгорит, да так оно и бывает каждую осень: солнечный мир проваливается, обугливается, сереет. С утра выглянуло солнце, осветило бледным светом, и снова всё погрузилось в осеннюю задумчивость. Николай Николаевич сидел за книгой — в ум не шли материалы для экспозиции. «В ум не идут, или я сам — не очень иду в этот ум? Зачем всё это нужно? И нищенский заработок в том числе? — вяло вопрошал он. — Каждый день я не живу, а сталкиваюсь с проходящим днём. Куда-то спешу, суечусь, день разваливается, крушится... Глядь, уже и обед прошёл... Вот и спать пора...»

Он лежал на высокой, как будто больничной, железной койке в голой комнате, а она сидела у него в ногах и ласково выговаривала своим тихим голосом за какие-то семейные пустяки: «Надо и самому готовить...» Он лежал поверх холодного серого одеяла в трикотажных старых штанах и клетчатой рубашке, закинув руки за голову. Вдруг вскочил, чтобы поцеловать её, а она увильнула и быстро, с улыбкой, юркнула под кровать, как это делают разыгравшиеся дети. Встав на колени, выставила из-под свесившегося серого одеяла светловолосую голову с ясными, весёлыми глазами. Он тоже встал перед ней на колени, придерживая её за щёки легко, поцеловал три раза: сперва слабым поцелуем попробовав губы, потом крепко, но поцелуй сорвался; и ещё раз прикоснулся слегка, будто закрепляя это действие. До этого он никогда не целовал её в губы... И проснулся в своей квартире. Долго лежал в темноте, ждал утра, когда пойдёт к ней... Во сне он увидел её во второй раз. До этого, на прошлой неделе, она приснилась больная, постаревшая, кашляла. Николай Николаевич затревожился. А Ира, как оказалось, действительно в тот день была в больнице — у зубного врача...

Пришёл Николай Николаевич в библиотеку, но Людмила Михайловна сказала, что Ира ушла сдавать какие-то бумаги... Он бродил у белых толстых стен бывшего монастыря, спустился с холма к ручью. Там в сыром, сером небе под мокрыми, чёрными ветками ив — кирпичные, алые развалины — сиротливая античная арочка на высоте, и треугольник кладки, оставшийся от разобранный крыши. Нарушил лёгкую печаль чёрный автомобиль с утробной, глухой музыкой в салоне, спрятавшийся за развалинами.

Под молодыми дубками в парке Николай Николаевич подобрал большой, разлапистый лист, на его жёлто-коричневом пергаменте написал: «Сон. 8 октября, 200... года. Ира». Положил ей на кафедру в библиографическом отделе... И так прошёл весь день. И на другой

день он искал, ждал её, и опять томил неотступный страх, что она вернулась к мужу или любезничает с отставным прапорщиком. Его пристроили завхозом или «заведующим технической частью музея-заповедника», как он сам себя представляет. Николаю Николаевичу он с первого же разговора стал неприятен. Кривоногий, косопузый, с откляченным задом. На лысине просвечивают бурые пятна, старательно прикрытые серыми вязкими прядями, поэтому он не снимает шапку с головы. Что-то в его мнимо простодушном лице есть подленькое, нахальное, готовое, впрочем, моментально испариться, стать пустым и гладким, как доска. В разговорах он внезапно вставляет: «А как Шуберт?» Вообще-то он — человек не бесталаный: сочиняет песни и поёт их под гитару на вечеринках. Лепит горшки на гончарном круге, рассуждает про астрологию...

Николай Николаевич заходил хитростью в библиографический отдел, заглядывал на кафедру. Её всё не было. За три дня дубовый листок с её именем сморщился. Николай Николаевич вспомнил, как она однажды разговаривала с Людмилой Михайловной об именах и сказала: «Смотрите, какое имя у меня мягкое!» — и по слогам произнесла, будто придавливая ладошкой каждый звук к столу: «И-ра-а!» Образовано оно от слова *эйрене* — *мир*: в древнегреческом оно женского рода и обозначает состояние противоположное войне: *покой*. Но Николай Николаевич, увлечённый боковым ходом своих мечтаний, ошибаясь в одной дореволюционной буковке, по-русски переводел его, как *вселенная*.

С утра в выходной холодная, цинковая туча съела небо за Волгой, пошёл первый снег, потом слякоть, ветер зашумел порывами, с подвыванием в выбитом окне чердака. И после обеда дождик сиротливо стрекотал по стёклам и просительно дребезжал по жестяному карнизу окна. Николаю Николаевичу опять стало страшно, что она вернулась к мужу. Этот навязчивый страх становился всё сильнее. «Или войду, — тревожился он, — а от неё осталась лишь одна тень на полотне мира, промоина, куда она ушла... И я не увижу её никогда!» Так прошла неделя...

Николай Николаевич, случайно встретив Иру на улице, заметил, что у неё ссажена кожа на носке сапога. На другой день на вечере, в библиотеке, где она, взволнованная, элегантная, на высоких каблучках, представляла книгу местного автора, напомнил ей об этих, прятавшихся обычно в бытовой комнате, сапогах: «Давайте, я вам подклею — это же пустяк». «Я сегодня очень злая, не подходите ко мне!» — тихо, с непонятной улыбкой ответила Ира. Сначала он не поверил, заглядывая в её глаза, в их тёплую, зеленоватую глуби-

ну — как прогретое песчаное дно в нежных, солнечных пятнах. Только какой-то острый блик играл в них, но лицо от этого стало ещё милее. Он даже не обиделся, спросил, может, у неё с детьми что-нибудь случилось? Но она невнятно ответила, что просто настроение такое, и добавила: «Годы уходят». Николай Николаевич не знал ещё, что вчера его жена откровенно, с колкими шутками рассказала Ире о его странном любовном признании. Он весь вечер был в недоумении: ему этот перепад был непонятен. «Под её чудесной простотой, похоже, целый океан бьётся», — раздумывал мечтательно он. Так в недоумении он провёл и ещё один день. А на третий пришёл на работу и принялся через силу за тематический план новой экспозиции. Как это уже и прежде бывало, от обиды хотел не ходить к Ире. Но, как обычно, после обеда уже был в библиотеке. В коридоре заволновался и даже перекрестился, так ему стало тревожно. Ему больших усилий стоило входить в этот небольшой зал с высоким потолком, с ящиками каталогов, с полками словарей и энциклопедий по стенам. Не дошёл, свернул в кабинет к заведующей отделом: дверь была открыта. Говорливая, маленькая, кругленькая, в чёрном костюме, перехваченном по талии, как кубышечка, на высоких каблуках-шпильках, только что из парка: на каждом каблукке — по пронзённому дубовому листу. Незаметно для Николая Николаевича она закрыла листком какого-то отчёта старую фотографию завхоза с подписью в затейливой виньетке: «Привет с Дальнего Востока!» Отдав ей дискету с текстовками о варяге и мерянке, Николай Николаевич попросил передать её Ирине Петровне. В это время Ира сама вошла, улыбаясь, опять усталая, бледная. Пошли в пустой читальный зал. В глазах у неё будто какая-то озабоченность. «Видимо, что-то случилось всё же», — погрустнел Николай Николаевич и спросил, когда на него записали «Русскую Правду». Оказалось, что четвёртого сентября: «Тогда, значит, я и побоялся поцеловать её, когда глаза её улыбались: «Можно, попробуйте...»

Он заговорил с ней о заголовках к новой выставке, потом, не утерпел, о мерянке. Она, как обычно, слушая его басни, больше молчала и улыбалась... «Я давно сделала вам те копии...» — «А сегодня подходить можно?» — перебил он, радуясь на неё и напоминая ей *тот вечер*... Ничего не ответила. Ей вдруг вспомнилось, как жена Николая Николаевича насмешливо расписывала: «Мой муж поэтично сравнивает ваши глаза, Ирина Петровна... с мельчинками — так называют в деревне мелкие места в реке». Причём, что показало самым обидным, раза три повторила «мелкие, мелкие!»...

Пока Николай Николаевич, собираясь уходить, думал в своём оцепенении, счастливом и глупом: «Теперь опять ждать до поне-

дельника», — раздались спорые шаги по коридору, и бравый завхоз уже протягивал ему руку. У него нарочито крепкое рукопожатие, он, видимо, хвастается своей силой. Недавно он сказал Николаю Николаевичу на улице: «Я самый счастливый человек в мире! Если бы я не попал в музей, где бы вы могли ещё встретить такого человека?» Кроме напускной, казарменной весёлости да этой присказки про счастливого человека у него под личиной ничего нет. Он ходит, похоже, и к Ире, и к Людмиле Михайловне. С серьёзным видом сел у полки. Ира вышла из-за кафедры бледная, с русыми локонами, в чёрном блузоне с высоким воротом и чёрных брюках. Прошла в коридор, в библиографический отдел, быстро, безнадежно в дыхании Николая Николаевича отдаваясь стуком каблучков, забывая все мысли. И лишь миновала прикорнувшего с журналом у полки прапорщика — он по-собачьи сторожко повернул голову за ней и вперился в её обтянутую брюками попку. Не отлип, пока Ира не скрылась в растворе высоких белых дверей, за ящиком с гигантской тропической осокой. Через минуту вернулась — снова утонул кепарём в раскрытом на коленях журнале. Опять зачем-то простучала вызывающе, волнуя, — прапорщик опять пристал к ней взглядом. Николай Николаевич не мог забыть, как однажды, навалившись на эту книжную стойку, он протягивал ей длинную конфету и, ослабившись ухмылкой, с тем же сощуром и перекосом лица, с каким привык, должно быть, скалиться, толкуя о женщинах с краснорожими, сальными бездельниками в каптёрках, — сыпал хамскими комплиментами: «Ну что, белая моль?!» А она снизу вверх из-за стойки, сияя своими светлыми, — глубоко, ясно смотревшими глазами, такими милыми, — податливо улыбалась ему...

На большом, стрельчатом окне вешали шторы. Старый шофёр с запорожскими усами стоял на столе. Высоко под потолком в чёрных брюках стройная, как ласточка, раскинувшая руками по окну, навела воланы Людмила Михайловна, а маленькая заведующая осторожно спускалась от неё со стремянки, с каждым шагом всё выше, будто входя в воду, подымая юбку над круглыми коленями. Вдруг увидела, как смотрит на неё сероволосый завхоз, и засмеялась, покраснев, смущенно и радостно, как девушка... Николай Николаевич подметил, что цвет глаз у неё был чудесным, фаумским, а теперь стал, как и у других женщин, обычным, серым. Вчера случайно он увидел, как она в коридоре пустом, привстав на носки, с приторным хихиканьем обнимала заведующего технической частью... Ира деловито увела его в подвал — передвинуть тяжёлые стеллажи. Он прошёл, опашнув Николая Николаевича густым парфюмерным духом.

Николай Николаевич узнал, что прапорщик развёлся на Дальнем Востоке с женой, руководившей хором в Доме культуры, уехал, оставив её с двумя детьми. Шоферил, потом подлёт, говоря языком «Русской Правды», к разошедшейся с мужем учительнице, которая была старше его. Учительница прогнала его за пьянку. Теперь он взялся имитировать пещные горшки, называет себя художником-гончаром. Как все отставники, любит давать нелепые советы и лезет с ними в экспозиционную работу. Для того, чтобы незаметно вывести электропроводку, он предложил продолбить дыру в табуретке восемнадцатого века. Людмила Михайловна называет его необыкновенным человеком. Он дарит ей цветы, сорванные с клумб. Она благодарит его своим жеманно-курлыкающим голосом. «Мужчин у нас в музее мало, а женщин одиноких много, и все они по очереди с ними ти-ти-ти... Не зря на торжественных собраниях заведующая говорит с пафосом: "У нас в музее одна большая семья!"» — смеялась Ире Людмила Михайловна. Недавно Николай Николаевич встретил завхоза, сильно подвыпившего, в переулке, у бесконечного забора старого дома, и он после обычных слов о самом счастливом человеке вдруг принялся забавляться поэзией:

— В жизни какая-то мировая несправедливость, — изобразил задумчивую мину он. — Я понял это вдруг, и всё рухнуло. Понял, почему мне не удалась моя работа, служба и всё другое... Я не могу жить с ней — тут всё зарыто, — говорил он, раздражая Николая Николаевича, и, что особенно казалось неприятным, делая на своём вогнутом лице рот колечком и брюзгливо уводя его на сторону. — Почему? Не могу понять!.. Вроде ничего не мешает, — намекал он о своём отношении то ли к выгнавшей его учительнице, то ли к заведующей. — А я уже не могу с ней жить... Таков уж мир, — разводил он руками...

А Николай Николаевич усмехнулся, подумав, что прапорщику в эту минуту под словом «мир» представлялись, верно, вечерняя, темнеющая даль горизонта, исчезнувшее небо, тёмная плоскость сумеречной земли. Словом, весь миропорядок — тоскливо звенела в нём, как муха за стеклом, одна мысль. И только самого себя он не представил, а ведь весь этот миропорядок, будто бы темнеющий и уходящий за заборы, в ночной тупик, и был лишь он сам, подвыпивший прапорщик.

Ещё через день пришёл он с утра в библиотеку и с порога наткнулся на широкую спину завхоза и на взгляд Иры, устремлённый на него снизу вверх, из-за кафедры, внимательно-податливый, глубоко распахнутый, так хорошо знакомый Николаю Николаевичу взгляд. Прапорщик, припав на локтях к кафедре, наклонив длин-



ную голову к Ире, разглядывал её, как ворон. По инерции Николай Николаевич ещё пролетел прямо к ней, малодушно торопясь поздороваться с завхозом за руку. Но тот лишь кивнул кепарём. Николай Николаевич удивился, устыдился и, глянув на Иру вопросительно, отошёл. Завхоз что-то договорил тихо и замолчал, остался наедине с принимающим его молчание, потемневшим Ириным взглядом.

— Ну, ладно, я пошёл! — показывая голосом на Николая Николаевича и точно ощущая его смятение, выстрелил в воздух он и строевым шагом покинул их.

Николай Николаевич не успел ещё ничего перечувствовать, а уж Ира торопливо подала ему дискету с фотографиями варяга и мерянки. Он протянул ей записку, свою ночную записку... Нет, это уже у старого, коричневого стола в библиографическом отделе... Заглянула, смигнув ресницами: «Прочитаю потом». Она уже успела сказать ему, что ей надо срочно писать какой-то отчёт. Он пошёл за ней по коридору, и голову его окинуло туманом, проступила на лице глупая улыбка, тянущаяся за ней. Позднее, со стороны, он со стыдом представлял своё резиновое, растягивающееся в этой улыбке лицо. «А прапорщик... прапорщик... зачем? О чем вы говорили?» Она опять тёмным, грешным взглядом улыбалась ему, прикрывающимся жестом прижимая тетрадку к груди, куда было вложено и его письмо, что-то отвечала односложно. А другой рукой уже открывала дверь вниз, на узенькую лестницу, когда-то по ней ходила прислуга, и теперь вдруг из-за двери донеслось — плеск тряпки в тазике. Он замолчал, сморительница в двух шагах от них мыла лестницу и могла услышать...

Он вышел на улицу. Удивительно, он всё видел и слышал, но до него точно не доходила суть случившегося. Николай Николаевич отодвигал её в яркий, белоснежный мир, в мерцающий, сырой перламутровый туманец. И синева туманная сверху, будто вбирала боль, ложилась на душу прозрачно, а за Волгой, где-то над древней Ивушкино, над Ириной родиной, как он уловил, над развалинами скрытого в Волге монастыря — вдруг увидел он — стоит столпом косым радуга в бледном, воздушном небе... Там, где на острове затерялась могила святого подвижника, основавшего монастырь.

Потом в мастерской Николай Николаевич говорил со старым столяром в шапке-ушанке. У него было спокойное лицо со светлокариными улыбающимися глазами. Обговаривали размеры циркульных, то есть круглых рам для музея, но, окинутый туманом, Николай Николаевич плохо понимал его слова. Вынул блокнот и стал записывать размеры, количество стёкол... Всю ночь он не мог заснуть, лежал, как на плахе, и не чувствовал никакой потребности во сне.

Всё объяснялся с Ирой: «Я не буду больше вам мешать». Язвил: «Вы зайдите к нему со спины, посмотрите — у него там пустоты, как у кукол-манекенов в нашей новой экспозиции!» Потом тошнота, высокое давление, слезливость... Жена вызвала скорую... «Ситуация очень опасная», — сказал врач. По ночам он тайно плакал. Тот же мир январский точно осел в нём матово-солнечным блеском, светящимися белыми сугробами. И проел тьму сердца, и ревность, и обиду — он вспоминал, как ещё осенью поставил свечку Серафиму Саровскому и молился ему за Иру, и за их любовь, и каялся, сам не зная в чём. И книжка тогда подвернулась про Серафима — и он подарил её Ире. И вот как раз оказалось — пробовал он утешить себя — на день святого Серафима он и получил этот целебный удар... И, снова охладевая, жалел себя, негодовал.

До него дошёл и смысл потемневших её глаз и грешной улыбки, с которой она открыла дверь на лестницу. Он увидел себя со стороны в тёмном свете её глаз какой-то маленькой, безликой фигуркой. В таком унижительном положении он не был перед женщиной уже почти сорок лет. Только тогда, зимой, на крыльце, когда пытал упokoившуюся теперь под маленьким мраморным крестом: девушка ты или нет? Потому что хоть и редко, но вылезало холодное и гадкое, словно змея, отвращение к ней. «А если нет, то что ты тогда со мной сделаешь?» — спросила и призналась: «Нет!» Сухие глаза почти злобно всматривались в него: «Теперь уходи, уходи!» И тут же, вослед: «Куда ты? Вернись!»... «Думал, что изменилась женская природа, нет, она всё так же коварна, предательски кокетлива», — отчаивался Николай Николаевич...

«Со мной происходит что-то новое, — стараясь успокоить и отвлечь себя, пытался анализировать он. — Часто утром я, проснувшись, ещё в темноте, лежу со слезами на глазах и думаю: для чего я полюбил Иру? Для того, чтобы отказаться от неё? Вот это, наверное, и есть моя жертва. Ведь любовь — жертвенна, страсть — корыстна...» Лишь через две недели он вышел из дома, чтобы прогуляться. Небо пухлое белое и тихо, пусто во всём мире. Только неожиданно, с сырым, вязким звуком шлёпаются подтаявшие плюшки снега с высоких сосновых лап. И сосенка маленькая на задичавшем поле вдруг выпрямится, вскинется вверх, сбросив с себя снежный груз. Всё так же, как и сорок лет назад, будто в мире ничего не произошло с его постаревшей душой: «Думал сначала, что душа у меня — голая: тела точно не стало — каждое слово, которое прежде пропускал мимо ушей, как стрела, вонзается прямо в неё. Теперь догадываюсь — это не душа голая, может, потерял я её, души-то как раз и нет. Хватает, бьёт из своей темноты плоть, ударяет током в кровь — вот и все переживания. Вот так умрёшь, а вместо света, образов и простора —

тьма тёплая и тёмное шелестение крови... Иногда приходит жуткая мысль — пойти к Ире, просить за что-то, сам не знаю, прощения, и о чём-то умолять. Только бы она была со мной в каком угодно варианте». Ловя себя на этом странном, канцелярском слове, он понимал всю нелепость сво-ей затеи: «Нет, лучше отвлечься на что-то. Всё вокруг учит, что надо терпеть. Всё, если захочешь, поможет забыть её...»

Одну неделю он уходил бродить в чахлый лесок на заброшенном колхозном поле, опять, уже по-другому, успокаивали покрытые снегом сосны: снег на ветках нависал так ровно, будто каждая веточка бережно держала его: иногда совсем непосильный для себя, несоответственный, кривой ком, а он всё равно — не рухнет. «Зачем-то он так лежит, как на бутерброде, значит, и мне так — терпеть надо, — разглядывая, умилялся Николай Николаевич. — В этих хмурых наплывах опускающегося на тебя тяжёлого неба — что-то живое, какое-то живое выражение, твоё же, из того же состава, что и твоя душа. Присели, прилегли, как твои мысли, покорно землисто-коричневые кусты, прикрылись ключьями снега, улеглась на бок серо-жёлтая трава, всё обжато, обжито живым вслушиванием и знает твои такие же нерадостные и вечерние, тёмные, тусклые, осевшие в душу пласты внутреннего мира».

Давно надоевшая работа тоже помогала ему наполнять пустоту времени и отвлекала от унылого заглядывания в себя. А тут как раз начались судебные разбирательства между музеем-заповедником и торговой фирмой из-за земельных владений. Николай Николаевич консультироваться ходил к родственнице жены, служившей мировым судьёй. Она с участием толковывала ему всё, что надо делать, заставляла записывать. Деловито, пристально раскладывала на столе бумаги, разглаживала их: они, как живые, будто чувствовали её большие белые руки. Глядя на её руки, точно ласкавшие белые листы, он всё вспоминал, как он гладит свою старую белую кошку. Стал замечать, что, поговорив с судьёй часа два, весь день потом ведёт себя спокойнее.

Судья жаловалась, что её замучила *мелочёвка*. И всё одно и то же: родители — бьют детей, дети — родителей. Находила в своих папках диагнозы психиатрической экспертизы: «Синдром жестокого обращения с ребёнком». Новый этот термин удивил Николая Николаевича, он раз так заинтересовался, что остался и на вынесение очередного приговора. Судили, и уже второй раз, тридцатидвухлетнюю внучку, выколачивавшую деньги на вино у своей восьмидесятишестилетней бабушки. Внучка была беременна. И ждала приговора за стенкой, в отделанном заново синтетикой пустом маленьком зале: в чёрной, торчавшей на груди вострыками, старой кара-

кулевой шубке, может, перешитой когда-то из бабушкиной, допотопной. Носик тонкий, симпатично задорный, быстрые глазки, всё моментально схватывающие, только щёки впалые и кожа уже постаревшая, придававшая лицу жёлтый, поношенный вид. Судья в кабинете говорила, что, видно, внучка эта занимается проституцией. Потому что деньги у неё есть: девять тысяч сразу в залог по иску внесла: «Притворяется смиренницей, беззубая!» — переходя на шёпот, наклонялась судья через стол к Николаю Николаевичу. Он всё перебирал в уме её слова, когда эта, в чёрной старой шубке, после чтения приговора что-то тоненьким голосом и преувеличенно покорно спросила у судьи, и увидел, что в этом милом ещё личике, в чисто изогнутых губах — мелькнула тёмная дыра. Он пришёл домой изумленный и тем, что увидел, и тем, что Ира вдруг сразу отодвинулась в мерцающий туман. Вечером рассказал о суде жене.

— А ты разве не помнишь её? Это Таня, — удивилась жена. Она готовила ужин. — Я же тебе её когда-то показывала? Она в подъезде у нас часто стояла. Ей тогда было четырнадцать лет, а она уже мужчин поджидала...

Он удивился, вспомнил, действительно, какую-то школьницу на лестничной площадке у окна, опять, кажется, в той же чёрной шубке, с потупленными глазками. Вспомнил и её мать, с которой учился в одной школе. Как это было давно... Он не думал о том, как она пинала свою бабушку и кричала: «Давай денег! А то я тебе сделаю!» Стояла в глазах только её обтёртая, с вострыми на груди шубка, носик и какая-то непонятная, необъяснимая жалоба за всё на кого-то и неизвестно кому.

— Это же по возрасту наша дочка, — сказала жена со знакомым ему оттенком в голосе. И повторила то, что он слышал уже не раз:

— Жаль, что я родила только одного ребёнка...

В толстом свитере, повязав голову светлым шарфом, она резала капусту на щи. Николай Николаевич бездумно загляделся на её руки, отдавшись потоку, всё время скользящему сквозь нас и уносящему нас куда-то, хотя нам кажется вся эта скучная обыденность бесконечной, стоящей на месте. И сквозь эту кофту, платок, её руки и другие безымянные мелочи кухни вокруг — заглянула ему в душу какая-то таинственная, успокаивающая нежность ко всей милой, убогой жизни с её обидами, ревностью и любовью.

Разгоняя этот нежный туман в душе, он не скоро возвратился к внешним мыслям. За окном, уже потемневшим, накатил шум подъехавшего автомобиля с вырвавшейся из кабины музыкой, чуждо вторгшейся в слух. Николай Николаевич вспомнил, как вчера они разговаривали с женой об открытой в заповеднике выставке из музея Пушкина, не пользовавшейся вниманием посетителей.

— Рыцарский век. В городе мало кто его понимает, столько клеветы на него вылиито, — заговорил рассеянно Николай Николаевич. — И почти все гравюры знакомые. Знаешь, Люба, в гравировальном деле той эпохи в равных дозах слиты техника печати и искусство живописи, и одно другое не перевешивает ещё. Кукольник, Владимир Одоевский, Вельтман, Верёвкин... Строго оформленные книги. Домашинная «Литература», как тогда писали: с большой буквы и с двумя «т». Строгость, покой царствования Николая Павловича представляются даже сквозь безделушки. Табакерка, чернильница, затейливый чубук, перчатки, щипцы для их натягивания, цилиндр, рамы картин, мебель... А теперь? Как там у Кублановского? Живём, а будто в землю жалкую легли и тлеючи лежим, припоминая дружбу с чаркою, перчатку, розу, шейку жаркую и николаевский режим! Посмотрел — обновило душу... «Ушёл немного от домашней ревности, сцен», — чуть не добавил он, но сдержался и вместо этого сказал:

— Только в такую эпоху могли появиться «Очи чёрные»... Вижу пламя в вас я победное, сожжено на нём сердце бедное... — пропел он и почувствовал, что сен-тиментально заволновался, и ему стало жалко себя, потому что это было лишь похмельем того нервного опынения, которое он испы-тывал прежде, встречаясь с Ирой.

Жена, собирая ужин, слушала, не перебивая. Такое молчание, за которым Николаю Николаевичу слышалось будничное равнодушие, всё чаще раздражало его. Любовь Николаевна осталась на кухне читать Платона, возвращавшего ей молодое ощущение мира, а Николай Николаевич, разъедаемый своими мыслями, ещё про-смотрел перед сном детектив по телевизору, и в душе его, как часто случалось после телезрелищ, стало темно и пусто.

А ночью он проснулся в своей комнате в два часа, вспомнил Иру и всё, что случилось, и неврастенично, тяжело, неслышно заплакал, закрывшись с головой одеялом. Ворвались кувырком старые мысли, пробежало перед ним такое далёкое теперь, счастливое лето, как он просыпался рано, часа в четыре, и ждал, когда можно будет встать и идти «к ней». И сиял в душе облик «её», и начинался «с ней» немой разговор, бесконечный и бессмысленный. В ней, этой женщине, было что-то такое, обо что сокрушалась, разбивалась, этим оканчивалась вся прожитая жизнь. Всё завершалось её образом. Так он тем летом мечтал глупо, растроганно, со слезами на глазах — о ней ли, что она недостижима — или о том жалел, что жизнь прошла... Всё напрасным казалось перед её сверкающим сквозь слёзы образом. Не то делал, не так... а как надо? Но и «как надо» — стало уже поздно, понимал он. Как он страшно волновался, глядя на её плечи. Потом такие милые, похудевшие... Весь день ходил, как

пьяный, прикоснувшись к её волосам или поцеловав её руку. В любовном чаду, повторял, что любит её, как самого себя... Ему казалось, что перед ним — он сам в её облике. Он видел в ней отдельно — самого себя мальчишкой, а не смутным зеркальным двойником, зачёсывающим виски по утрам. Только руки, ноги чуть другие; и надо прижать к себе нежно это «чуть другое», соединиться с загадочным, лучистым своим вторым «я»...

Глухо, бесследно в ночную пустоту бежали минута за минутой, а он всё растревлял себя воспоминаниями, мучился своим унижением, представляя, как Ира тогда, январским утром, когда разговаривала с завхозом, глянула нарочито равнодушно, мимо него, и повторял, что увидел себя её глазами и понял, кто он в её глазах. Нелышнный за двойными рамами ветер раскачивал провод антенны, задевавший за жестяной карниз окна, и в скрежете этом, впиливавшемся в душу, слышалось что-то осмысленно враждебное к сердечным воспоминаниям Николая Николаевича. И опять ему снились какие-то сумрачные, кошмарные нелепости. «Подхожу к музею, — перебирал он их уже утром, идя на работу, — как в тёмную большую гравюру вхожу. Ира на чёрной широкой лестнице, к ней сзади пририсован в профиль, плоско мужчина с уродливым напыловом лба, в грубошёрстном свитере. Высится над ней, они, как единое существо. В руках у неё почта: газеты, пакеты. Она не видит меня, глядит, как изображения глядят с гравюры, мимо. Выдёргиваю у неё из рук прижатые к груди газеты... Потом лицо у неё меняется, улыбается. Другое её лицо лежит на столе: типа маски — мерянское, скуластое...»

Сон холодным, тёмным комом залёг в душе: тот, уродливый, в грубошёрстном свитере, был похож на завхоза и её бывшего мужа, и мысли Николая Николаевича опять содрогались от гнева и унижения, и долго, неприятно вспоминалась лестница: в книге у известного шарлатана и толкователя снов — символ соития. Напрасно на такие бродячие чувства и мысли он силился смотреть, как на чужие, и отгонять их, это не удавалось ему...

Солнце выглянуло, точно старческой улыбкой осветило дальнюю полосу леса и небеса на повороте Волги; но что-то прибавилось невыразимое в мире, и облака в синих разломах неба глянули грудастее, велеречивее. И на этом февраль замер, ни морозов, ни метели, ни солнца над сугробами. Ровный над головой, серый пух неба в тумане: тает в нём, тинясь, будто в чьих-то скорбных мыслях, близкий березняк. Любовь Николаевна, уютно сидя на кушетке, поджав под себя ноги, записывает в дневнике: «Ходила на вечер оперетты.

Видела Колину грацию. И. выглядит ужасно. Да дело и не в этом. Пришла слушать лёгкую музыку. А впечатление такое, что похоронную. Всё у неё написано на лице. Ничего не желает скрывать. Вчера мне сказали, что И. ложится на операцию в онкологию. Не хотела говорить мужу, да сказала. Так жалко И. За детьми её будет присматривать мать...»

А Николай Николаевич в музее, бессмысленно перелистывая трактат об особенностях греческого языка новозаветного, вспоминал, что эту болезнь он неосознанно почувствовал у Иры ещё с осени, тогда ему подряд приснились два сна о ней. А позднее случайно вечером встретил её на автобусной остановке и подивился, как изменилось у неё лицо: оно стало бледным, постарело, на носу заострилась горбинка. Он был один в маленьком, под сводчатым потолком, кабинете. Недавно назначенного говорливого зама по науке, сидевшего за столом напротив, вызвали на экскурсию для каких-то важных гостей. Николай Николаевич в расстёгнутом пиджаке, который в последнее время стал ему туговат, встал и прошёлся к зарешеченному окну. Захваченный бродячими мыслями, он не чувствовал, как когда-то, в прежние годы, устремлённую на него глазастость всех обжитых, милых, старинных вещей вокруг.

С неожиданной силой он вдруг вспомнил, как серым августовским днём в музей пришла пенсионерка в седых завитках, с запахом изо рта. Принесла альбом газетных вырезок для запасника, а для себя попросила Иру сделать с них копии. Бумага у неё была своя. «Конечно, эта бумага не годится, — забормотала Ира в соседней комнатушке, у копировального аппарата, — нет, не получается». И пока она выковыривала застрявший, смятый лист, он подошёл сзади, просительно прикоснулся к её талии в чёрном блузоне. «Николай Николаевич, разве я вам давала повод?» — металлическим голосом, не повернувшись, остановила она его... «Нет, не давали...» — Никогда, никому он не скажет, что значило это прикосновение, которым он будто бы попросил прощения у её тела. И, переиначивая её фразу, он теперь внутренне выговаривал ей: «Разве я вам давал повод? Сказал или сделал вам что-нибудь плохого? Разве я *зверь*?» Это последнее слово поразило его своим живым смыслом. Им он переводил с греческого слово «панерос» из притчи о сеятеле — вместо привычного «дьявол». Панерос — высшая степень зла, враг души. Душа — пашня, Бог сеет семена любви, но приходит — дикий *зверь* и выжирает эти семена. Питается панерос душой, её счастьем, любовью, миром, ладом. Страшен этот живой смысл притчи о сеятеле. «Вот и у меня сейчас такое состояние — душа пуста, черна, и стоны из неё зверские вырываются. Кто же выпустил этого *зверя* на меня?» Он опять ощутил режущую, душевную боль от того, что

она оскорбила его. Жертвенное чувство: «Она не должна умереть!» — ослабело, даже показалось ему холодным и напускным. Он не хотел несправедливо думать, что эта болезнь — наказание ей, но со страхом замечал, что — думает.

На следующий день Николай Николаевич проснулся, сел на кровати и удивился: как легко и свободно ему, впервые за месяцы душа освободилась от боли и тяжести. И с теплом, нахлынувшим изнутри, он радостно подумал про Иру: «Она ж ребёнок. Что спрашивать с такой?» И снова затревожился о её болезни.

Заметив перемену в утренних мыслях: больше не растравляло его воспоминание, как она унизила его, — оно обратилось в отдалившуюся, будничную картину, — он сидел, продолжая удивляться внезапной свободе от терзавшей его ревности. Жена ещё спала в своей комнате. В окне рдел из холодной темноты рубиновый огонёк телефонной мачты. В его одинокости было то же ощущение освобождения. В следующую минуту он почувствовал в комнате присутствие какого-то зрения, видящего его душу насквозь. Точно кто-то умный и давно знакомый сидел напротив него у книжных полок и с любопытством следил за возвращением к нему его свободы. Мол, это я вернул тебе её, видишь, как хорошо стало. Я же её сейчас и возьму. Этот кто-то смотрел ему в душу, как взрослый на ребёнка. Воображение Николая Николаевича быстро изваяло в уме его фигуру с белым, холодным, как снег, барским лицом; и сам весь белый, пухлый, в белой рубашке, во всём светлом, он чем-то был похож на ангела, только карикатурно одетого в модный костюм. Выражение лица у него — всматривался Николай Николаевич — бесстрастное и высокомерное, как у тех, что сидели в президиуме кадрового резерва.

И, действительно, через полчаса уже душа Николая Николаевича запылала, всё вернулось с удесятерённой силой: и ревность, и ненависть. Завтракая с женой, он думал: «Зря я удивлялся на свою чистую свободу и хоть на минуту, а глянул на этот мнимый, сразу же побледневший и растаявший лик. В таком огне самопожирания я прожил уже почти месяц...» Любовь Николаевна догадывалась по его лицу, что муж опять «ушёл в параллелку». В конце недели она неожиданно предложила Николаю Николаевичу навестить Ирину Петровну. «К обеду мы вместе пошли в больницу, — записывала потом Любовь Николаевна. — Нужно было видеть, как Н. Н., бросив одежду, метнулся сразу в палату к И. И смятение, и тревога, и жалость — всё на лице написано, у такого-то скрытного. Паника...»

Но в палате Иры не было, сказали, что она вышла. В коридоре у двери на клеёнчатом диванчике лежало существо, похожее на карлика, с коротенькими руками, усохшей, детской фигуркой под лыжным костюмом, с растянутым к оттопыренным ушам лицом, плос-



ким, в синяках, с пупырышкой носа — ноздрями вверх. Когда Николай Николаевич рассеянно глянул на это существо, оказавшееся женщиной, то ноги его замерли, лицо её, глядевшее на ней чужим, не мёртвое, но и не живое, показалось ему знакомым. Наваждение длилось какую-нибудь секунду. Он не мог знать эту онкологическую больную, в белой горячке выбросившуюся из окна с третьего этажа. «Дайте закурить, пожалуйста», — пустым, изношенным голосом попросила она. Любовь Николаевна удивлённо поглядела на цветы в пол-литровой банке, стоявшие на тумбочке, и спросила, не видала ли она Иру? «Пожалуйста, вон там!» — махнула рукой с зажатой в ней сигаретой больная вдоль по коридору.

Там, за черневшими на полу дырами в линолеуме, «карикатурный человек», как называла его Любовь Николаевна, разговаривал с Ирой на прокуренной лестничной площадке у мутного окна. Он, на удивление, был без шапки. По бокам его острой головы лежали, как льноволокно, тщательно причёсанные пряди волос, верх был плешив. Ира сидела, уйдя в себя, склонившись на подоконнике, и не знала, что прийти сюда завхоза уговорила маленькая заведующая, чтобы, как она убеждала его, «приободрить Ирину Петровну». Любовь Николаевна приветливо заулыбалась, она была довольна, что так подгадала. Николай Николаевич увидел, как мясистая рука медленно поползла от Иры по подоконнику, когда завхоз привстал поздороваться и тут же нарочито сообщил, что получил хороший заказ на гончарные изделия. И, поглядев на Любовь Николаевну глуповатыми синими глазами, с развязной доверчивостью прошепелявил: «Ночь уносит голос страстный, близок день труда...» Взял с подоконника шапку и надвинул её на брови. Похудевшее, с проступившими порами на коже лицо Иры отягчила тень какого-то страдальческого воспоминания. Николай Николаевич был поражён их пошлым видом. Тусклый, зимний свет окна за ними был забит чёрными ветками, будто перечеркнута вся жизнь. Быстро, для приличия поговорив, попрощались. Навстречу по коридору молодой толстый санитар, потешаясь, вёз на каталке в туалет больную с диванчика: «Покурить поехали, пожалуйста!» — махнула она им уже, как знакомым, рукой с сигаретой. Николай Николаевич, приостановившись, поглядел вослед, чтобы еще раз увидеть Иру.

Вечер встретил их на улице тихий, с влажным воздухом, в котором расплывался свет фар, всё вокруг утолщалось, пухло медленным снегом. Николай Николаевич шёл домой так быстро, что Любовь Николаевна едва поспевала за ним. Жалость его душила к Ире, и ненавидел он её, вспоминая мясистую руку завхоза. Он злобно ругал себя дураком. Николай Николаевич был из таких людей, что в жизни обречены больше волноваться и страдать.

А завхоз, подсев на подоконник к Ире, небрежным тоном знатока пересказал ей главную телевизионную новость про выборы на Украине. Встал, выпрямился, выпятив брюхо, потом с тем же видом, с каким пересказывал про выборы, поцеловал её в щёку. При этом Ира тоже встала и глядела вбок. Потом завхоз отправился на квартиру к маленькой заведующей — поужинать и рассказать всё.

А Ира пошла в туалет. Там, перед грязными кабинками, на сырой, противной плитке пола, на куче грязных мусорных отходов лежала и курила уже третью сигарету больная с диванчика. Она стала спрашивать про какую-то Тамару Михайловну. Может, это была та сумасшедшая посетительница, что принесла ей цветы и пачку сигарет. Что-то страшное показалось Ире в этой женщине, особенно в том, как она глядела. Одни глаза были живыми на её неживом лице и будто вставленными в маску. Она испытала наваждение, похожее на то, которое испытал Николай Николаевич, только, если он посчитал его случайным, то Ира была суеверной.

— Я не знаю, про кого вы спрашиваете, — ответила Ира, одновременно с неприязненным удивлением вспоминая, как потерянно отворачивал от неё взгляд Николай Николаевич: «Какой-то образ выдумал, какая-то мерянка!» — вспоминала она недружелюбно. Не понравилось Ире, что и Любовь Николаевна пришла посмотреть на неё. Зато, успокаивая себя перед операцией, весь вечер, старалась вспомнить внимательные из-под шапки глаза завхоза и то, как он красиво подбочивался и как значительно, с упором, сказал: «Помни — я всегда думаю о тебе!» И, лёжа уже на койке, под бормотание телевизора в палате, она молилась и тихо плакала, пока не заснула.

#### IV

...Тем, «счастливым», как вспоминал его Николай Николаевич, летом расплодилось много бабочек траурной, чёрно-ржавистой расцветки, они залетали на балконы, в дома, а потом, в октябре, когда стало холодно, а котельная ещё не топилась, засыпали, прицепившись к потолку. А затопилась — снова проснулись: и запорхала чёрная парочка у Николая Николаевича в комнате. А теперь их давно нет, но повернётся Николай Николаевич резко вбок — и зацепит боковым зрением, будто чёрные бабочки забьются в пространстве — и миг исчезнут, но долго ещё трепещут в мыслях: «Это не бабочки, а чёрные трепещущие дыры в толще призрачной горы живого стекла времени; в толще призрачной нашего мира — глаза слепые мира иного, которыми он своей тьмой тяжёлой заглядывает на нас из своей пропасти. Вот и чёрные бабочки всё это лето трепеском крыльев вскрикивали нам об этом, предостерегали. А пропасть иного мира

всё ближе и ближе: прикивает, как к замочной скважине, к нашему пёстрому, детскому раю земному — чёрными ямками небытия». Только теперь, зимой, перебирая в памяти, он начал понимать то, что случилось тогда, после Успения, в неожиданно тёплые первые сентябрьские дни...

В субботу, кажется, шестого числа, устроили в городе фестиваль народных ремёсел. Бравый завхоз торговал у музея в ларьке, оформленном, как усадебная беседка. Николай Николаевич сбоку увидел нос и длинную, как из глины, скулу да толстую руку, захватывающую деньги из чашки и подававшую покупателям из окошечка разные керамические закупленные где-то по дешёвке поделки. Николая Николаевича заняло торжественное упорство лавочника: с такой же казарменной точностью он, верно, раньше разливал стопки. Теперь опять закодировался. Пещной, не облитый глазурью горшок за десять тысяч рублей, образец его реального искусства, краснел в витрине. Но никто сего соперника Аполлона не покупал.

А на волжском бульваре между старыми берёзами — по яркой, золотой осенней уже погоде: толпа, песни, электромузыка, поделки из дерева и берёсты, архангельские козули, шорник из Владимира с кожаными ремнями и сумками, воинские доспехи и птицы райские, сделанные из тыкв. И стало на минуту вдруг Николаю Николаевичу страшно, что всё это, вместе с берёзами — декорация, мар, а за ними — тьма, в которой тешатся черти. Тут он и встретил крупную, рыжеватую женщину в древнерусском наряде. Рубаха с длинными рукавами, радужный шерстяной пояс, на юбке — соломенные полоски смешаны с ромбами и квадратами, точно вырезанными из радуги.

— У вас височные кольца? — спросил он, удивившись и почувствовав, что начинается что-то необычное и тревожное, долгожданное. Ещё больше он удивился, узнав, что её зовут Татьяной. Опять, уже второй раз... Татьяна. Это же крестильное имя самой матери сырой земли.

— Да, у меня весь костюм такой, по научной рекомендации. Льняная ткань ручной работы по технологии двенадцатого века... — Из-под низко спущенного на лоб головного покрывала глянули отзвучиво узкие, с накрашенными ресницами, вроде бы обычные, бледно-голубенькие, притворные глазки.

Глядячи на неё, Николаю Николаевичу вспомнилась тогда коренница из электронной книги. Будто это она сама из восьмого или девятого века — в своём наряде, и точно застыли в его узорах цветы тысяч душ — и в сознании ярко толкнулись живой массой давно истлевшие люди той эпохи. Конечно, тут далеко до науки. Всё спуталось: то восьмой век, то двенадцатый. Но это не смущало. Внутренне

он был убеждён в правдивости своих образов. И ещё этот наряд древнерусский, сразу подумалось ему, лучше бы подошёл Ире. Он представил её лицо под головным покрывалом, обрамлённым радужным магическим орнаментом. Рукава собраны к локтю и схвачены в запястьях широкими медными браслетами. Татьяна сняла их — и рукава спустились до земли. «Это символизирует родство женщины с матерью сырой землёй», — привычно улыбаясь, говорила она. Показала на шее коралловое ожерелье и эмалевые медальоны. Один покрупнее, заморский, из Византии. Второй, с белым кречетом, русской работы... Все они точно с того света — скопированы с могильных находок... Тогда Николай Николаевич и вспомнил, что именно такие же медальоны на той же неделе во сне ему показывал Валера, и стал Татьяну фотографировать. Глаза её заиграли, как леденцы, улыбка стала ещё слаще. Толстые, большие губы у неё были накрашены бледной помадой. Непонятно чем, но женщина эта показалась странной и не понравилась. Она подала ему напечатанную кириллицей визитную карточку с белой птицей.

Валера приснился дня за четыре до этого: в чёрной вельветке, старый, в морщинах. В тёмном ночном лайнере. Вышел Николай Николаевич из большого салона в какой-то боковой, поменьше, там Валера сидит со своей компанией, с женой Анной. Николай Николаевич к нему не обратился. Потому что Валера снился ему теперь часто, но во снах не разговаривал, опуская голову, отмалчивался. А тут Николай Николаевич прошёл мимо, а Валера догнал — заговорил. «Я про твою смерть узнал у Ильхама», — сказал Николай Николаевич ему. Валера говорит: «Ты у Ильхама прихватил какую-то коробочку».

Ильхам — однокурсник, это он в позапрошлом году позвонил Николаю Николаевичу из Москвы и сообщил о смерти Валеры в Ростове-на-Дону. Они часто ездили друг к другу в гости... Дальше во сне он, удивляясь, говорил Валере, что не знает, не помнит никакой коробочки. «Ты был в Москве у Ильхама и прихватил из его квартиры вот это!» — Тут Валера поставил на столик узкую коробочку деревянную, а на её светлом днище — часы и два медальона эмалевых. Один цветом коричневый, светлее боба. Другой с белой птицей, вестницей смерти, уносящей в лучший мир. Николай Николаевич смотрел и не мог понять, как всё это у него оказалось?

А часы с металлическим браслетом?.. Только теперь он вспомнил, что Валера носил такие в семидесятые годы, когда они учились в Москве и жили в одной комнате в общежитии. Потом Валера с его помощью на семь лет пристроился в здешнем городе. Обучился ещё гравировальному ремеслу, умел ремонтировать и ювелирные изде-

лия. Они от скуки занимались перепиской из двух углов, и Николай Николаевич раз набросал шутливую, утопическую зарисовку Валере, будто бы тот живёт в городе Канта, Калининграде, и подрабатывает тем, что ремонтирует часы. Сидит в большом магазине, в шалманчике с игривой вывеской «Срочный ремонт времени»... Странные совпадения... Когда Николай Николаевич уже после смерти Валеры нашёл в Интернете его сайт, то сильно удивился, прочитав о том, что он потом действительно жил в Калининграде... Все эти совпадения пугали. Сон скажет правду — да не всякому... Он заново перебирал случившееся... Всё больше его удивляла и Татьяна. Особенно её имя — крестильное имя матери сырой земли. Снять запястья — соединиться рукавами с землёй, прорасти в землю... Как будто Валера этими медальонами и часами весть с того света подал — через эту Татьяну, одетую в наряд мёртвых. И женщина она странная — Николаю Николаевичу не понравилась. А наряд этот лучше бы подошёл Ире, которой мерянка, ушедшая провожать своего мужа... может, была пращуркой. Ира выросла в деревне Ивушкино, у воды, ив и камней, в мерянских местах, душа у неё из солнца и воды, глаза, как песчаное дно просвеченное, глубина в солнечных пятнах... А сегодня хмурый, серый день... Николай Николаевич тогда всё обдумывал и обдумывал эти совпадения... Часы, медальон с белой птицей... Она иногда является в видениях умирающим: прилетит, сядет во дворе на заснеженную поленницу, а вокруг неё растает снег...

С той поры прошли зима, весна, лето — год, изменивший его отношения с Ирой. День рождения Николая Николаевича — он выходил на пенсию — жена предложила отметить не дома, как обычно отмечались у них все семейные праздники, а пошире, в кафе, в компании сотрудников. Ему не очень хотелось слащавых застольных поздравлений и тостов. Но, чтоб не загружать жену лишними хлопотами, он согласился. Какое-то томительное предчувствие, привязчивая тоска давили в ожидании этого дня.

К концу застолья он от напряжения нервного, да и выпили немало — вышел прохладиться на пять минут на волжский бульвар, на обрывистый берег под старыми берёзами. Для этого надо лишь перейти улицу. Уже стемнело, было около семи вечера. Дёрнул же его бес зайти за эти кусты. А тут из-за кустов, как тени, один за другим вынырнули несколько человек и оттеснили его к обрыву, так, что за спиной остался козырёк в полшага. Плотная девушка в кожаной куртке, с распущенными волосами, пропела ласково: «Дядя, прыгай!» По бокам её тесно наготове стояли безлико двое, и черты её лица в темноте он не различил...

Нашли Николая Николаевича лишь на рассвете в холодных камнях под обрывом.

Всё это он вспомнил уже через сутки в реанимационном отделении, когда прошёл шок и вернулась память...

В больнице он вспоминал, что последние полгода его часто будили кошмарные сны, в которых его преследовали и пытались убить. И все убийцы — как и те, на бульваре — молодые ребята, злые и вертлявые. Сны яркие, безжалостные: то он в Москве идёт с Валерой к Ильхаму и попадает в засаду к малолеткам. То врываются они к нему в квартиру или нападают на улице, у здания администрации. После таких снов томил страх.

А когда его уже из больницы, после операции, увозили домой, он присмотрелся и увидел, что койка его у стены, с подъемными рычагами, ортопедическая — та самая, что приснилась ему во сне, в котором он три раза поцеловал Иру. Этот сон, вроде бы незначительный, случайный, тогда Николая Николаевича почему-то крепко удивил... Он весь разбит, дома лежит бездвижно, ему становится всё хуже и хуже. Жалуетя жене, что ему стало трудно терпеть самого себя. А Ира поправилась. Заведующий технической частью уволился из музея, чтобы с головой окунуться, как он говорил, «в гончарное творчество». А потом и вовсе куда-то запропастился: «Человек совершенно пустой и ходок по женщинам», — иронизируя, старообразным слогом поминает его маленькая заведующая Ирине Петровне и немилосердно хихикает.

Николай Николаевич проснулся, как обычно, рано, на исходе ночи, и неприятно услышал, как по железному карнизу окна ударяет дождь. Он упрятался плотнее под одеяло и лежал ещё долго, представляя серую погоду, зимнюю слякоть... Больное тело стянуто, как колода, ногами — не двинешь. Душа, как тёмная, вечная клетка, и в ней в сумеречном свете перелетает с места на место маленькая птичка — тревога... Один в комнате, жена спит в другой. За ночь она несколько раз приходит то помочь перевернуться на бок, то поправить сведённые ноги. Комната — точно тяжело оживает; он лежит в ней, как её тяжёлая мысль. Обои начинают вяло теплиться, будто бы какой-то своей жизнью; стены выступают угласто, как черты постаревшего лица; полка с книгами заторчала, как нос; замечаешь, какая утомлённость исходит от стульев, всё чего-то ждёт постарушечьи устало вместе с хозяином, и вдруг — звонок!.. Комната вздрогнула, затаилась, как ребёнок испугавшийся: нет, не открывай! — шепнуло всё. Белая кошка в ногах, на кровати, смутно чернеющая в темноте, начинает настороженно всматриваться в пустое серое окно, будто видит там что-то пугающее... Спрыгнула, ис-

чезла. За дверью помедлило, наслаждаясь растерянностью, и ещё позвонило два раза значительно, с расстановкой, и, удовлетворившись паникой хозяина, ушло неслышно по лестнице... «Вот так и Валера — встал, крадучись отрыл дверь... и оказался в чёрном лайнере. Неужели жена не слышит?..» И Николай Николаевич, уже понимая, — как и тогда, на волжском бульваре, на ярмарке, у солнечных берёз, — что это ещё одно предупреждение, последнее, заговорил смятенно: «Ира, где ты?..»

## Эпилог

Но в ответ ему из напряжённой, рыхлой, живой тьмы выпал протяжно странный звук, будто лопнул бумажный пакет... Темнота стала ещё тягостнее, напряжённее, в ней ожили какие-то её внутренние звуки... И сдавило страшное, нестерпимое одиночество... и когда угас чёткий, плоский звук хлопка, будто лопнул бумажный пакет, он понял, что она уже здесь, тёплая, тёмная. Почувствовал, как рядом раздвинуто пространство её мягким животом и бёдрами... Откинула одеяло: «...я же тебя люблю!» — «Марина, ты же мёртвая?» — «Нет, я была в Америке...» И он почувствовал, что уже и то, что когда-то узнавали только за гробом, теперь начинается здесь. И узнал, что такое мнимые люди: люди-челюсти, люди-руки, люди — какие-то белые мешки в ином, в боковом, как он называл, мире. И умер на исходе той ночи. В больнице сказали, что от лежания у него в паху образовался тромб: этот бурый, похожий на улитку сгусток, оборвался, пополз с кровотоком в вене и...

...И вдруг Доброшке, сидевшей впереди мужа, стало больно внутри, там, где у неё было сердце, и вокруг стало темно, как ночью. Ей показалось, что она снова на земле, и пламя костра, пожирившее её, погасло, и она в нём истаяла. Но боль её всё нарастала, пока не превратилась в живой длинный луч, рассёкший ночь и ставший дорогой для её мужа, продолжавшего скакать в этом сиянии на своём золотом коньке. И тогда боль утихла, улеглась...

Осталась одна любовь, указывающая своим лучом путь к Богу.